

Филон Александрийский

О добродетелях^[1] (Книга I: «О посольстве к Гаю»)

Филон Александрийский. Против Флакка; О посольстве к Гаю; Иосиф Флавий. О древности еврейского народа; Против Апиона. — Москва–Иерусалим: Еврейский университет в Москве (Библиотека Флавиана, выпуск 3), 1994. — Стр. 51–112.

Φίλωνος Ιουδαίου περί αρετῶν α' ο ἐστὶ τῆς αὐτοῦ πρεσβείας πρὸς Γαίον

1

Долго ли мы, старцы уже, все будем детьми малыми, телом дряхлые, но душою вовсе незрелые, почитающие шаткое из шатких — судьбу — самым непреклонным, а природу, крепче которой ничего нет, самой ненадежной? Ибо поступки наши подобны ходам по игральному полю: мы думаем, что данное судьбой, вернее даримого природой, а данное природой обманчивее, чем дары судьбы. А все потому, что, не умея видеть грядущего, мы служим настоящему, вверяясь чувству, которое давно уже сбилось с пути и нас теперь сбивает, а не рассудку, который никогда с дороги не сойдет, ибо глазу доступно лишь явное и близкое, рассудок же опережает взор и видит невидимое и грядущее, но это свойство (рассудком видеть больше, чем глазом) мы губим: кто пьянством и чревоугодьем, а кто невежеством — худшим из пороков. А между тем в наше время решилось множество важнейших вопросов, и это сделало возможным убедить и неверных в том, что Бог промыслит все дела людские, в особенности — племени коленопреклоненного, назначенного тому, в ком причина всего, — отцу и царю Вселенной. На языке халдеев это племя зовется «Израиль», а ежели перевести на эллинский, то «Зрящий Бога»^[2], и это узренье Бога я ставлю выше всех прочих вещей, для каждого (из нас) и вместе для всех людей. Ведь если облик старших, учителей, правителей, родителей нас побуждает к стыдливости, благопристойности и ревностному стяжанию жизни целомудренной, то какой же столп добродетели и совершенства мы можем найти в душах, обученных быть выше всего тварного и видеть божественное и бессмертное — Высшее Благо, Красоту, Счастье, Блаженство, все, что поистине лучше блага, прекрасней красоты, блаженнее блаженства, счастливей счастья, если вообще возможно что-либо более совершенное, чем эти вещи. Ведь разум^[3] не умеет достигнуть неприкасаемого и никак не осязаемого Бога, но поворачивает вспять, бессильный подобрать главные слова, чтобы с их помощью подступиться к объяснению — не говорю сути Его (ибо даже если все небо обратится в говорящий голос, чтобы вещать об этом и только об этом, то и у него не станет слов), но способности хранить нас, устрояя, царствуя, промысля и совершая все прочее, чтоб нас облагодетельствовать или покарать; впрочем, и кары господни мы поместим в число благодетаний, не только потому, что они суть часть законов и установлений (закон ведь двояк по своей природе — он поощряет хорошее и карает дурное), но и потому, что наказание нередко вразумляет и наставляет заблудших или, во всяком случае, тех, кто с ними рядом (ведь когда карают одних, другие трепещут, как бы и с ними не случилось что-то подобное, и так исправляются нравы).

Так вот, найдется ли кто-нибудь, кто, видя Гая после кончины Тиберия[4], когда он восприимчив властью над всем миром, не мятежным более, но пребывающим в благодати, все части коего были слажены и созвучны — восток и запад, юг и север, когда варвар с эллином, воин с мирным гражданином, муж государственный с военачальником вместе вкушали плоды единомыслия и мира, не восхитился бы и не был поражен невероятным и неопишным счастьем Гая, коему достались в удел все мыслимые блага: кладовые с несметными богатствами — и серебро, и золото, и в слитках, и в монетах, и в кубках, и в иных предметах, что создаются для красоты, и войско неисчислимо — пехота и конница, суда и корабли, доходы, текущие рекой, власть — и не только над большей и лучшей частью мира (она-то по праву и зовется «миром»), границы коей идут по Рейну и Евфрату, и струи Рейна отделяют нас от германцев и прочих племен, весьма звероподобных, Евфрат же — от парфян, сарматов, скифов, кои ничуть не менее дики, — в удел ему досталась власть, границы коей проходят там, где солнце всходит, и там, где спать оно ложится, в глубинах океана и в небесных высях? И всем это было в радость — и римскому народу, и всей Италии, и племенам азийским и европейским. Ведь ни один из самодержцев — предшественников Гая — не вызвал такого восторга, причиной коего была отнюдь не надежда на обретение благ для общества и для себя и на обладание ими, нет, все полагали, что удача к ним повернулась полностью — удача, готовая разразиться счастьем.

Да, в те поры что был ни город — то алтари, святилища и жертвоприношения, белые одежды, цветы в кудрях, и радостно сияющие лица, и благодать, в них светящаяся, и празднества, и всенародные собрания, и состязанья Муз, и конские ристанья, гулянья, флейты и кифары ночь напролет, улады и всевозможные наслаждения для каждого из чувств. В те поры богатые не подавляли бедных, безвестных — знаменитые, заимодавцы — должников, хозяева — рабов, то время всех уравнило, так что Кронов век — тот, о котором пишут поэты, — уже не казался вымыслом и сказкою: все было цветенье и изобилие, спокойствие и безмятежность, веселье сердца от утра до утра, везде и всюду, не прерывавшееся семь первых месяцев. А на восьмом Гай был поражен тяжким недугом: здоровая умеренность, которой он еще недавно, при жизни Тиберия, был привержен, сменилась излишествами. Тут крепкое вино, и лакомства, и аппетиты, коих не утолить, хотя пустоты тела более не вмещают, и тут же горячее купанье, рвота, и снова вино без меры, и новое алканье новых яств, и похоть, насытить которую могли и мальчишки, и женщины, тут было все, способное разрушить душу, тело и все их скрепы. Кто держит себя в узде, тому наградой сила и здоровье, а плата за распущенность — бессилье и болезни, идущие об руку со смертью.

Когда повсюду узнали о Гаевом недуге (в ту пору суда еще ходили — было начало осени, когда купец пускается в морскую дорогу последний раз, стремясь вернуться к родимым гаваням, где б он ни оказался, особенно если задумал не зимовать в чужих краях), люди оставили привычку к роскошествам и сделались угрюмы; в печальное раздумье погрузился каждый дом и каждый город, и общая печаль равнялась весом недавней радости. Ибо весь мир занемог вместе с Гаем, страдая, однако, куда сильнее: ведь Гаева болезнь терзала лишь его тело, а общий недуг затронул все — спокойствие души, покой страны, надежды, право на блага и вкушенье оных. Ибо мысли вертелись вокруг одной оси: как много зла рождается безвластьем, и сколь оно ужасно — голод,

войны, опустошения, грабежи, потеря состояния, плен, страх рабства или смерти, и как неисцелимо это зло, если не прибегнуть к единственному снадобью — выздоровлению Гая.

Так вот, как только Гаю стало легче, слух об этом тотчас донесся до самых дальних рубежей, ибо молва — отличная бегунья, и каждый город пришел в волнение и жаждал уже лучших новостей, покуда, наконец, не принесли благую весть: Гай совершенно здоров; и тут все вновь возрадовались сердцем, и каждый остров, каждый материк счел спасенье Гая собственным спасеньем. И не упомнить, чтобы еще в какой-нибудь земле когда-нибудь какой-нибудь народ так радовался обретению властителя или его спасенью, как радовался мир и воцаренью Гая, и его исцелению. Казалось, что все сейчас только обратились от жизни стадной и животной к законам и порядкам, общим для всех, или, оставив уединенное житье в пустынях и предгорьях, поселились в городах за крепкими стенами, как будто некий пастырь или вожак, их укротивши, собирает в стадо, и вся их жизнь попадает под некую опеку; все ликовали, не зная правды: ум человека в слепоте своей не умеет различить истинной пользы, ведомый не знанием, но допущением и догадкою.

4

И вот, по прошествии совсем недолгого времени тот, кто почитался спасителем и благодетелем, как бы изливающим чистые потоки благ на Азию с Европой, чтобы вечным было счастье всех и каждого, переменялся круто, и, закусивши, как говорится, удила, стал дик и неистов, или, скорее, просто открыл свою жестокость, прежде умело скрываемую под маскою притворства. Ибо двоюродного брата, оставленного ему в соправители, коему самой природой было положено стать преемником власти (ведь он был родным внуком Тиберия, а Гай — приемным), он убивает: мол, тот злоумышлял против него, хотя сам возраст несчастного свидетельствовал об обратном — он только вышел из детства^[5]. И люди говорили, что проживи Тиберий еще немного, и Гая, подпавшего под страшные подозренья, устранили бы, а кровный внук Тиберия стал бы единственным правителем и наследником дедовой власти. Но рок унес Тиберия, и замыслам этим не дано было осуществиться, а Гай считал, что, преступив границу права и справедливости по отношению к соправителю, он все же избегнет обвинений, если поведет сражение хитро и умело.

А замысел его был таков. Собрав верхушку, он сказал: «Пусть тот, кто по рождению мне двоюродный, а по любви родной, делит со мной самодержавную власть; так думал и покойный Тиберий. Однако вы ж сами видите, что он еще совсем дитя и надобны ему опекуны, учителя и наставники. А потому не лучше ли будет, когда с души его и плеч некто, вставший рядом, снимет часть ноши, ибо власть — тяжелое бремя. А я больше чем наставник, учитель и опекун, — отныне я буду ему отцом, а он мне — сыном».

5

Введя такую речь в обман как слушавших его, так и самого отрока (усыновление было лишь уловкой, имевшей целью лишить Тибериева внука даже тех прав, которые он уже имел, а вовсе не помочь ему обрести желаемую власть), Гай продолжал злоумышлять

против законного сонаследника и сотоварища с чувством полной безнаказанности, никого уже не принимая в расчет, ибо по римским законам отец имеет над сыном полную власть, не говоря о том, что непререкаема была власть Гая как самодержца — никто не смел и не мог взыскать с него, что бы он ни сделал.

И вот его соперник повержен в прах безжалостной рукой, а победитель не помнит ни детской дружбы, ни уз родства, ни молодости побежденного — несчастного, обреченного скорой гибели соправителя своего и сонаследника, в ком люди чаяли со временем увидеть и самодержца, ибо Тиберию он был роднее всех (те, кто теряют сыновей, обычно видят их во внуках). И говорят еще, что этого несчастного заставили наложить на себя руки в присутствии центурионов и хилиарха, коим не велено было брать грех на душу — дескать, потомки самодержца не должны принимать смерть от чьей-нибудь руки (так в беззакониях своих Гай помнил о законе, в делах богопротивных — о благочестии, как будто насмехаясь над самой природой правды); но мальчик, совершенно беспомощный, ибо никогда не видел, как убивают, и не превзошел искусства сражений, коему обучают ввиду грядущих битв тех мальчиков, которых растят для власти, сначала подставил шею и просил бывших при нем воинов убить его — те не смогли; тогда он сам взял меч и в неведении и неопытности своей стал расспрашивать их, куда лучше метить, чтобы ударить наверняка и тем прервать свою жалкую жизнь. И воины, давая словно бы уроки несчастья, стали наставлять его и указали место, куда он должен направить меч, а бедный юноша, усвоив свой первый и последний урок, стал самоубийцей поневоле.

6

И вот, выиграв это первое и главное сражение, когда не осталось уже ни единого дольщика верховной власти, на чью сторону могли бы переметнуться иные из прямых предателей или из тех, кто колебался, Гай тотчас же стал умахаться для другой схватки — с Макроном^[6], который всегда был с Гаем и плечом к плечу сражался за его власть, не только когда Гай уже обрел ее (прислуживать успеху — дело льстецов), но и прежде, когда эту власть еще нужно было взять. Ибо самодержец Тиберий, имея глубокий ум и умея лучше всех проникнуть в чужие тайные помыслы, будучи настолько же проницательным, насколько удачливым, нередко смотрел на Гая косо, подозревая, что тот настроен против всего дома Клавдиев и привержен лишь материнской ветви (и потому Тиберий боялся, что его юный внук, случись ему остаться одному, погибнет), для власти же — и столь великой власти! — непригоден как из-за природного неумения сходитья и общаться с людьми, так и в силу неровности нрава, ибо виделось в Гае что-то странное и безумное: непредсказуемы были и речи его, и поступки. Этой беде Макрон старался помочь как мог, рассеивая подозрения Тиберия и в первую очередь те, к которым более всего, казалось, влеклись мысли самодержца, питаемые непрерывным страхом за внука.

Макрон представил дело так: Гай благомыслен и послушен власти, двоюродному брату уступает во всем, так что, пожалуй, захочет уйти с дороги и всю власть предоставить ему — такова его привязанность к родным; а скромность всегда вредила людям, вот почему и Гая, бесхитростного и простого, считают лукавым. Когда же Макрон исчерпал все доводы, но Тиберия не убедил, он попытался заключить как бы некий договор: «Я ручаюсь за него, — сказал он, — и слову моему можно верить, я показал вполне свою приверженность власти Цезаря и лично Тиберию, когда мне вручили судьбу Сеяна^[7] с тем, чтобы я подступился к нему и уничтожил его!» В конце концов Макрон преуспел со своими хвалами Гаю (если вообще подобает называть хвалою то, что на самом деле есть защитительная речь такого свойства, когда прямого доказательства вины

найти не могут, а обвинения темны и неопределенны), произнеся перед Тиберием все слова, какими только можно восславить родного брата или сына. И дело тут было не только в том (как полагали многие), что Гай ответно помогал Макрону, имея огромный или даже наибольший вес в верхах, — другой причиной (о ней обычно умалчивают) была жена Макрона[8]: день изо дня она питала и растила в муже стремление ревностно помогать юному Гаю. А как подчинить себе мужа и сбить его с толку, жена прекрасно знает, особенно распутная, ибо сознание своей вины делает ее еще более лстивой. А муж, не ведая, что дом и брак его подточены, и принимая лесть за чистейшее расположение, дается в обман и, запутавшись в расставленных сетях, не видит, что к нему тянутся злодейские руки, считая, что это руки друга.

7

Как всякий добрый мастер, Макрон хотел, чтобы дело его рук было прочно, чтобы никто — ни сам Макрон, ни кто другой — не мог его разрушить. И вот, стоило ему увидеть, что Гай среди пирушки задремал, он непременно будил его, заботясь равно о приличьях и безопасности (ведь спящий — легкая добыча); а если Гай смотрел на исступленные пляски, порой и сам вступал в круг пляшущих, или потешался, как маленький, глумливыми и непристойными сценками, хотя подобало ему лишь улыбаться с достоинством, или подпевал кифареду либо хору, хотя сравниться с ними в умении не мог, тогда Макрон, сев или возлегши рядом, пытался его урезонить. И часто, наклонившись к уху Гая, дабы никто не слышал, он мягко вразумлял его: «Когда ты смотришь на игру актера, иль слушаешь певца, или кого-то другого из тех, что действуют на наши чувства, неприлично тебе уподобляться присутствующим или кому бы то ни было; напротив, воспринимая жизнь (любую из ее сторон) ты должен быть выше всех настолько же, насколько сам возвышен счастьем. Ибо нелепо властелину земли быть пораженным какой-то песней, пляской или хлестким словцом, или чем-либо подобным, в то время как ему пристало всегда и всюду помнить и власть свою; он словно бы пастух при стаде, умеющий извлечь из всякого слова и всякого дела нравственную пользу». И продолжал: «Когда тебе случается бывать на состязаниях в театре или палестре, на конских ристаниях, ты думай не о самих этих занятиях, но о том, что в них может способствовать нравственному совершенствованию, и рассуждай так: “Вот вещи, в которых нет пользы для человека, одно лишь услаждение и удовольствие для зрения и слуха. Но как старательно иные над этим трудятся, стяжая восторги, похвалы, подарки, почести, венки, дабы их слава разносилась повсюду! А что делать человеку, владеющему высшим и величайшим искусством? А высшее и величайшее искусство — это искусство власти: оно не позволяет пропасть ни пяди пахотной земли, будь то равнина или горы, она дает купцам бестрепетно везти товар по всем морям, и страны, страстно желая общности, ведут взаимные расчеты, получая то, в чем есть нужда, и возвращая долг тем, что сами имеют в избытке. Вражда же никогда не правила миром, ни, даже сколько-нибудь крупными частями его (Европой или, скажем, Азией); вползая подобно ядовитому гаду, она находит себе укромный уголок в одной только душе, в одном только доме или даже — если уж слишком осмелеет — и в целом городе, но в более обширный круг народов и стран ей не вступить, особенно с тех пор, как род ваш, поистине возвышенный[9], взял бразды правленья в свои руки: всю пагубу, которая цвела и почиталась, сослали в самые глухие земли и глубоко под землю, а выгоду и пользу вернули нам из ссылки, из мест, где кончается земля. Теперь все это в твоих руках.

А потому, поставленный Природой у кормила, води вперед корабль человечества с осторожностью и знай для себя одну лишь усладу и радость — быть благодетелем своих

подданных. Ибо каждый гражданин вносит в общую трапезу свою долю, и доля правителя такова: принимать решения ко благу подданных, их исполнять и расточать добро щедрой рукой и щедрым помыслом, приберегая лишь то, что кажется необходимым приберечь ввиду неясности грядущего»».

8

Такими заклинаниями несчастный пытался исправить Гая. Но тот, имея пристрастие к раздорам и распрям, не внял, напротив, он откровенно выказал свое пренебрежение. Увидит, бывало, издали Макрона и заводит такую речь на радость окружающим: «А вот идет учитель того, кому учиться уже не надобно, наставник того, кто вышел из детства. И этот человек учит уму того, кто много его умнее, думает, что достойно самодержца повиноваться подданному! Он полагает, что владеет наукой власти и сам способен преподавать ее, но кто его учил этой науке, я не знаю. А у меня уже с пеленок было бесчисленное множество учителей — отцов, дядьев и братьев, племянников и дедов, и предков вплоть до зачинателей нашего рода, и все они, доходясь мне кровной родней с обеих — и с материнской, и с отцовской — сторон, владели самодержавной властью, не говоря о том, что в самом их семени заложены были некие царственные способности к властвованию. Ибо наследственные признаки — залог не только телесного (в облике, в сложении, в движениях) и душевного (в решениях и поступках) сходства, они даже несут в себе отчетливое сходство в умении властвовать. И вот меня, которого еще в утробе природа изваяла самодержцем, какой-то невежда имеет наглость учить! Меня, знатока! И по какому праву недавние простые граждане заглядывают в замыслы властителей души? Однако они, будучи едва ли посвящены в таинства, имеют бесстыдство вести себя подобно верховным жрецам и творить обряды в святилище власти!»

Так понемногу Гай начал выходить из-под опеки Макрона и строить против него обвинения — ложные, но убедительные и ловкие, ибо недюжинные натуры обычно мастерски строят правдоподобные доводы. Гай обвинял Макрона в том, что тот ведет такие речи: «Мол, Гай — мое творенье, и мое участие в его рождении, пожалуй, большее и уж во всяком случае не меньшее, чем собственных родителей; когда Тиберий жаждал его крови, он был бы не единожды, но трижды уничтожен, когда бы не я и не мои увещеванья; а после кончины Тиберия я передал всех своих воинов в его распоряжение^[10], наставив их так: нам надобна теперь только одна рука, тогда и власть ни в чем не понесет ущерба».

Иные всему этому верили, не зная, что перед ними обманщик, ибо тогда еще не обнаружили притворство и многоликость Гая. И вот несчастный Макрон вместе с женою устранен. Так отплатили ему — худшим из наказаний! — за непомерную его благонамеренность. Такова благодарность неблагодарных: по всей строгости взыскивают они со своих благодетелей за оказанную им помощь. Так заплатили и Макрону, который действовал от души, со всевозможным усердием и честно, сначала — чтобы спасти Гаю жизнь, потом — чтобы вся власть досталась только ему: говорят, беднягу заставили покончить жизнь самоубийством, и та же участь постигла его жену, хотя она как будто была когда-то близка с Гаем, но ни один, как говорится, из колдовских напитков любви не пьется слишком долго, ведь вкус изменчив.

После заклания Макрона с семейством Гай стал собираться с силами для нового коварства, третьего и еще более ужасного.

У Гая был тесть, Марк Силан^[11], муж достойный и славного роду. Хоть дочь его скончалась рано, он относился к Гаю со вниманием, питая к нему привязанность скорее даже отеческую, и думал, что, сделав из зятя сына, он не останется внакладе и Гай оплатит ему тем же по закону справедливости. Но Силан, конечно, не знал, что это заблуждение и самообман. Ибо он все время вел наставительные речи и не утаивал ничего, что могло бы служить пользе Гая — способствовать улучшению его нрава, образа жизни и правления; основания для такой наставительности были весьма значительные: во-первых, Силан был лучшего, чем Гай, роду; потом, конечно, брак дочери связал его с Гаем узами свойства, а дочь Силана умерла не так давно, чтобы его права как свойственника были совершенно забыты; впрочем, они уже были готовы забиться в предсмертных судорогах, хотя последние остатки жизни еще теплились.

А Гаю вразумления Силана были оскорбительны, ибо, как он думал, никто на свете с ним не сравнится умом и выдержкой, мужеством и справедливостью, а потому он ненавидел поучавших его больше, чем врагов. И вот, решив, что Силан слишком докучлив и станет, пожалуй, сдерживать поток его страстей; Гай, сказав последнее «прости» духам своей почившей жены (пусть, мол, простят его, если он уберет с дороги ее отца и своего тестя), коварно убивает Силана.

10

Об этом тотчас заговорили: мол, убивают первых людей державы, одного за другим, и все толковали о странных этих грехах; впрочем, не открыто, но шепотом — боялись. Потом вдруг все переменялось, ибо толпа во всем непостоянна — в решениях, в словах, в поступках: появились сомнения (не мог-де тот, кого они считали добрым, и порядочным, и равно ко всем расположенным, так быстро перемениться), а потому стали искать для Гая оправданий и, потрудившись изрядно, нашли. Касательно Гаева двоюродного брата и сонаследника говорили так: «Власть неделима — таков незыблемый закон природы. Гай сделал то, что могли бы сделать с ним самим, но он как более сильный опередил более немощного, и это вовсе не убийство, но оборона. Пожалуй, это было даже предусмотрительно и полезно для всего рода человеческого — убрать с дороги юнца, иначе одни брали бы сторону одного, другие — другого, и пошли бы тут смуты и гражданские войны. А что может быть лучше мира? Но мир рождается из правильного способа правления, а именно такого, который не приемлет распри и ссоры, и при таком правлении все прочее тоже устраивается правильно».

А касательно Макрона говорили вот что: «Он был чрезмерно спесив и плохо прочитал дельфийскую надпись, ту самую, “Познай себя!”; а знание, говорят причина счастья, незнание же — несчастья. О чем он думал, когда поменялся с Гаем ролями и себя, подвластного, возвел в правителя, а самодержца сделал подвластным? Каждому приличествует свое: властителю — повелевать, подвластному — повиноваться, Макрон же все перевернул!» Недалекие эти люди называли повеленьем увещеванье, властителем — советчика, и так смешали (то ли по недомыслию, то ли из подхалимства) подлинный смысл имен, а с ним и предметов.

А вот что говорили о Силане: «Вот смех! Он думал, что тесть для зятя — то же, что отец для сына. Впрочем, у простых людей даже отцы, когда случится их сыновьям взлететь высоко, с любовью уступают первенство. А этот малоумный, не тесть уже, все продолжал усердствовать в делах, вовсе его не касавшихся, не понимая, что вместе с дочерью умерло и его родство с Гаем. Ибо посредством брака, конечно, возникают связи между чужими прежде домами, и чуждость заменяется родством, но эти связи распадаются, как только распался брак, особенно когда причина этого необратима — смерть той, что вошла женою в чужой дом».

Такие-то разговоры велись в различных сходках, но более всего людям хотелось думать, что сердце Гая исполнено такой доброты и человечности, какой не имели его предшественники, а потому все считали невероятным столь резкое его превращение.

11

Итак, выиграв три означенных сраженья на трех важнейших направлениях (два из них касались дел отечества — сената и всадников, а третье — его семейных дел), Гай решил, что, одолев сильнейших, он остальным внушил смертельный страх: отцам-сенаторам — закланием Силана (ибо никто не мог оспорить его первенства в сенате), закланием Макрона — всадникам (ибо тот стал как бы корифеем, превзойдя всех в почете и славе), а убийством брата и сонаследника — всем кровникам. А дальше он решил переступить границы человеческой природы — и переступил их в своем рвении стать богом в глазах людей.

В безумии своем он рассуждал: «Вот пастухи — те, что пасут быков, и коз, и прочий скот, они ведь сами не козы, не быки и не бараны, а люди; их участь счастливее, устройство совершеннее. Так точно и я, пасущий лучшее из стад — род человеческий, — отличен ото всех, и людям я неровня, нет, моя участь куда значительней и сродни божественной». Поселив такую мысль в своем уме, глупец поверил в глупый вымысел как в самую правду. Когда же он собрался открыть перед всеми безбожное свое обожествление, то попытался быть последовательным и словно по лестнице, ступенька за ступенькой, поднялся на самый верх.

Сначала он стал уподобляться так называемым полубогам — Дионису, Гераклу, Диоскурам, а Трофония, Амфиарая, Амфилоха^[12] и им подобных вышучивал за их прорицания и тайные обряды, сравнивая их могущество с собственным. Потом стал примерять, как на театре, различные костюмы: то шкуру льва наденет, палицу возьмет (все позолоченное!) — и готов Геракл, то войлочную шляпу, когда захочет быть Диоскуром, а порою Дионисом делается с плющом, и тирсом, и оленьей шкурой.

«Но, — думал Гай, — я тем отличен от этих богов, что у них каждому воздаются свои почести, а чужих никто присвоить не может», и потому из зависти и жадности он присвоил себе почести всех богов разом, а лучше сказать — самих богов, не сделавшись трехглавым Герионом^[13] для привлечения толпы зевак, но изменяя свой облик и очертания (и это было куда как необычно), чем создавал великое многообразие форм на лад Протея, а тот, как показал нам Гомер, мог изменяться всячески, как в мельчайшие частицы, так и в образуемых ими животных и растения.

Но, Гай, скажи, к чему были тебе те знаки отличия, которые обычно мы видим на изваяниях богов, — ты должен был стремиться к их добродетелям. Геракл, совершая

подвиги, очистил землю и море, и это было нужно и полезно человечеству, ибо он уничтожил все злое и порочное в природе. Дионис, усмирив лозу и вынудив ее излить самый усладительный и вместе самый полезный напиток, побуждает душу к желаниям, давая ей забвение зла и благие упования, а тело делает и здоровее, и крепче, и подвижнее; этот бог делает лучше каждого в отдельности и меняет жизнь больших семей и целых кланов от грязной и тягостной к свободной и радостной; всем городам — и эллинским, и варварским — он дает пиры, веселье, цветенье и нескончаемые празднества, ведь все это — Дионис. А вот Диоскуры, говорят, делились друг с другом бессмертием, ибо один из них был смертным, другой — бессмертным; и вот стяжавший лучшую участь решил, что праведнее явить брату свою любовь, нежели тешить свое самолюбие. Ибо когда бессмертному предстала вечность, он понял, что будет вечно жить, а брат его не встанет из могилы и что это горе с ним будет вечно. Тогда он совершил великий, удивительный обмен, добавив себе частицу смертного состава, а брату — бессмертного, и так неравенство — источник несправедливости — стало равенством, из коего и родится справедливость.

12

Все эти боги, Гай, снискали [людское] восхищение своими благодеяниями (да и теперь мы восхищаемся ими) и были удостоены поклонения и наивысших почестей. Но ты-то чем подобным можешь похвалиться, ты-то чем гордишься? Да разве похож ты на Диоскуров с их братской любовью (начать хотя бы с этого), ты, бездушный и безжалостный, отдавший на заклятие своего брата и сонаследника в самом расцвете его юности, а потом и сестер отправивший в ссылку?! Неужели даже они внушили тебе страх за власть твою? Или, может быть, ты схож с Дионисом? Ты, как Дионис, дал людям новые радости? Исполнил мир веселья? Дарами переполнил Азию с Европой? Да, ты изобрел новые науки и искусства, ты, всеобщий осквернитель и убийца, и с их помощью ты делаешь все сладостное и приятное невыносимым и тягостным, а жизнь — не жизнью для всех и во всем: в угоду своим ненасытным и неутолимым желаниям ты отнимаешь у других все лучшее, что видишь — и на востоке, и на западе, и в прочих частях света, а возвращаешь лишь горькие плоды — все, что обыкновенно родит душа проклятая и полная зла. Так ты поэтому явился новым Дионисом?

Неужто и с Гераклом ты можешь соперничать трудами своими неустанными, и несокрушимой храбростью, и тем, что твоею волею материки и острова исполнились законности и права, цветения и плодородия, избытком благ, даруемых прочным миром, ты, безроднейший из безродных, вместилище трусости, ты, уничтоживший в городах самые зерна благополучия и счастья и густо засеявший их смятением, тревогой и невыносимыми тяготами?

Скажи мне, Гай, не из-за этих ли всходов, явившихся всем на погибель, ты ищешь бессмертия, чтобы бессмертными, а не кратковременными и мимолетными сделать несчастья? А я думаю так: если бы даже всем показалось, что природа твоя божественна, она все равно стала бы смертной из-за твоих пороков, ибо если добродетели дают бессмертие, то пороки совершенно губят его. А посему не зачисляй себя в Диоскуры, чья братская любовь себе не знает равных, ты, кровавый губитель братьев, и не пытайся разделить почет Геракла и Диониса, благодетелей человечества, ты, злодейски погубивший все содеянное ими!

Потом яд бешенства в его крови и ум, смешавшийся и сбившийся, повлекли его дальше: оставив далеко внизу полубогов, он замахнулся на культы тех, кого почитали еще более могущественными и чья природа была целиком божественной — Гермеса, Аполлона и Ареса. Сначала Гай оделся Гермесом (плащ, сандалии, жезл глашатая), явив страннейшим образом аккуратность в беспорядке, разум в безумии. Потом, когда припала охота, он, бросив все это, принял облик Аполлона (на голове — лучистый венец, в левой руке — лук и стрелы, в правой, вытянутой вперед, — дары: мол, блага он должен держать наготове и с лучшей, правой стороны, а наказания напоказ не выставлять, оставив им менее почетное место — слева). С ним вместе появлялся вымуштрованный хор, и в честь него пели пеаны, хотя вот только что, покуда Гай рядился Дионисом, тот же самый хор славил его гимнами как Вакха, Эвия и Лиэя[14].

Нередко он выступал и в латах, с мечом в руке, со шлемом и щитом и звал себя Аресом, а по бокам шли почитатели нового Ареса, толпа убийц и палачей, намеренных служить скверную службу тому, кто жаждал убийства и людской крови.

Потом всем в глаза бросилась несообразность: мол, отчего он поступает не так, как те, к кому он приравнял себя в почестях, но совершенно наоборот — он не снисходит до того, чтобы упражнять добродетели, присущие [названным богам], зато пользуется их знаками отличия всеми по очереди? Конечно, все эти предметы и украшения мы видим на статуях богов, но они дают нам знать о пользе, которую приносят человеческому роду почитаемые им божества. Вот Гермес: он обут в крылатые сандалии. Зачем? Да не затем ли, что толкователю и вестнику божественных слов (отчего он и зовется «Гермес»), когда он несет добрые вести (а возвещать дурное не только бог, но и мудрец не захочет), подобает быть легким на ногу и разве что не крылатым в несравненном своем усердии? Ведь являться с добрыми вестями нужно как можно скорее, а вот с обратным лучше тянуть, если не вовсе промолчать. Или вот жезл Гермесов: ведь это знак примирений, ибо ни перемирия, ни окончания войн не обходятся без глашатаев, которые и объявляют мир, а войны, где глашатаю нет места, рождают бесчисленные беды как для тех, кто бросил вызов, так и для тех, кто принял его. А Гай? Он-то зачем обул сандалии? Не для того ли, чтобы все позорное и бесславное, о чем должно молчать, разнеслось со всей возможной быстротой и всюду отозвалось эхом? Впрочем, к чему тут было спешить? Ведь Гай, сам пребывая во зле, изливал зло повсюду в мире как бы из неиссякаемых источников. Так какая же нужда в глашатайском жезле тому, кто никогда не был миротворцем — ни словом, ни делом, но лишь наполнил междуусобицами каждый дом и каждый город, и эллинский, и варварский? Нет, пусть он оставит Гермеса в покое и отречется от чужого прозвания, он, похититель имен!

А что в нем от Аполлона? Тот носит лучистый венец по воле ваятеля, желавшего так изобразить солнечные лучи. А к этому разве солнце и свет благоволит, а не ночь, не мрак, не что-то еще более темное, чем мрак (если таковое существует)? В самом деле, чтобы явить миру прекрасное, надобен полуденный свет, а для постыдного, как говорится, — глубины Тартара, куда [это постыдное] и нужно загнать, чтобы спрятать там. И пусть этот человек переложит из руки в руку то, что держит, и не лукавит, пусть лук и стрелы будут в правой, ибо он знает, как метким выстрелом сразить и мужа, и жену, и целый род, и густо населенный город, чтобы совершенно погубить их. А радость пусть бросит

поскорее или скроет в левой руке, ибо он опорочил их красоту, обратив свой алчный взгляд и жадные уста к большим богатствам, чтобы их незаконно присвоить; над ними и были заколоты их обладатели, чье счастье предрешило их злую участь.

Иные черты придал и Аполлоновому врачебному искусству: тот изобрел спасительные снадобья, столь нужные для человека, и притом считал необходимым исцелять даже те недуги, которые случились по вине других, — такова была доброта, истекавшая из самой природы Аполлона и его занятий. А этот здоровым нес болезни, полноценным — ущербность, живым — мучительную смерть (не данную судьбой, но рукотворную), многократно и с легкостью поверяя опытом все свои орудия мучительства, и если бы справедливость помедлила его убрать, то сейчас во всяком городе был бы уничтожен сам корень жизни. Ибо для власть имущих и богатых у него все уже было наготове, особенно для тех, кто обретается в Риме и вообще в Италии, чьи кладовые так полны серебром и золотом, что собери все остальное богатство в мире — и набралось бы куда меньше. Вот почему он, словно закусивши удила, стал вытраивать самые зачатки мира, он, враг своих граждан, мироед, чума и пагуба!

Вот говорят, что Аполлон не только прекрасный врачеватель, но и пророк: он возвещает грядущее для людской пользы, чтобы никто не бродил в потемках, не различая предметов и не видя дороги, подобно слепцу, чтобы не налетал на нежелательное, принявши за весьма полезное, напротив, чтобы всякий знал грядущее, как если бы оно было настоящим, и видел его умственным взором не хуже, чем мы видим то, что близко, телесными очами, и был осторожен, предотвращая зло. Так неужели можно сопоставить все это с пророчествами Гая, суть коих в ином — возвестить всякому власть имущему и могущественному, где бы он ни был, его грядущую бедность, бесчестье, ссылку, смерть?! Что общего может быть с Аполлоном у человека, в чьих поступках никогда не было ни тепла, ни родственного чувства? Пусть перестанет он подражать Пеану^[15], присвоив чужое имя, — фальшивой может быть монета, а не образ Бога.

15

И можно было бы ожидать всего, но не того, чтобы человек, вялый телом и расслабленный душою, сделался вдруг крепок, как Арес. А этот, словно актер, меняющий маску за маской, морочил зрителей.

Довольно, не будем исследовать свойств его души и тела — означенному богу он был чужд, и это выдавала любая поза, любое движение. Разве мы не знаем, что сила Ареса (но Ареса не из мифа, а из области разума, присущего природе) спасает от зла, что она — защита и опора для тех, с кем поступили не по праву, что, собственно и означает имя «Арес»? Ведь оно идет, я думаю, от «ἀρρήγειν», что означает «помогать», и этот Арес — сокрушитель войн, податель мира, а тот, другой, был враг его, друг войн, всегда способный обратить спокойствие в смуты и мятежи^[16].

16

Не ясно ли уже, что Гай не должен уподобляться ни богам, ни даже полубогам, не будучи наделен ни их природой, ни сущностью, ни даже направлением жизни? Но, видно, желанье слепо, особенно в соединении с тщеславием и жаждой первенства при

неограниченной власти; все это и стало для нас, счастливых прежде, гибелью. Ибо на одних только евреев он взирал с подозрением, так как только они избрали себе совсем иное направление жизни и совсем иному были обучены с пеленок родителями, воспитателями и наставниками и, главное, самими священными законами, а кроме них — неписаными правилами жизни: чтить единого Бога, Отца и Создателя Вселенной. А вот все прочие — мужи и жены, города, народы, земли и страны света, словом, весь мир — хоть и стенали, глядя на происходящее, однако льстили Гаю, превознося сверх меры и тем питая его спесь. Иные даже ввели в Италии варварский обычай падать ниц, уродуя тем самым благородный облик римской свободы. И только в одном избранном народе еврейском подозревали готовность к сопротивлению, ибо этот народ всегда был готов принять смерть, как если бы это было бессмертие, лишь бы только не попирались законы отцов, даже малейший из них, ведь это как в постройке: стоит только вынуть один камень, и все, что кажется прочным, распадается и рушится, обваливаясь в появившиеся пустоты. Но тут сдвигался с места не камешек, но глыба: из тварного и смертного состава человеческого был вылеплен образ Бога, чтобы казался он нетварным и неподверженным гибели, и это евреи сочли худшим из всех безбожных дел, ибо скорее Бог мог стать человеком, нежели человек — Богом, не говоря о том, что были тут иные тяжелейшие грехи — неверие и неблагодарность к Создателю Вселенной, который своею волею щедро и обильно изливает блага, не обделяя ни части мироздания.

17

И вот стали готовить войну против нашего народа, войну величайшую, не на жизнь, а на смерть. Ибо что может быть хуже для раба, чем враждебно настроенный хозяин? Подданные же самодержца суть его рабы, и если это не относится к предшественникам Гая, правившим снисходительно и соблюдая законы, то к Гаю имеет прямое отношение, ибо он вырвал из своей души всякую снисходительность и ревностно стремился к беззаконию: почитая законом самого себя, Гай отменил все прочие законоуложения как пустые слова. Он всех нас записал в рабы и не просто в рабы, а в низшее рабское сословие, а наш правитель стал нашим хозяином.

18

Все это не укрылось от глаз александрийской черни, пестрой и переменчивой; и вот решив, что это весьма удобный случай, они набросились на нас, и ненависть, с давних пор тлевшая, вспыхнула пламенем; все спуталось и пришло в смятение. Ибо считая, что самодержец обрек нас ужаснейшим несчастьем или что мы разбиты врагом, александрийцы исполнились бешеной и зверской ярости: они врывались в наши жилища, выгоняли хозяев с детьми и женами, чтобы все видели, что эти жилища пусты. Они уносили все, что можно и чего нельзя было унести, но не как воры (под покровом ночи и тьмы из страха быть пойманными), но открыто, при свете дня, гордо показывая встречным, как будто законные владельцы сами им продали или отдали все это. А если сразу несколько погромщиков решали объединить усилия, то добычу они делили прямо на рынке, нередко на глазах хозяев, осыпая их бранью и насмешками. Уже одно это страшно, не правда ли: быть богатым — стать бедным, быть преуспевающим — стать жалким и притом внезапно, ни в чем не преступив закона; лишиться крова, очага, быть изгнанным из собственного дома, чтобы днем и ночью обретаться под открытым небом и погибать то под палящими лучами солнца, то от ночного холода.

Но то, что мне предстоит рассказать, много тяжелее: всю эту толпу людей, с детьми и женами согнали со всей Александрии, собрав на малюсеньком клочке земли [\[17\]](#), точно в стойле, и ждали найти там вскоре лишь груды тел: мол, либо от голода погибнут (запасов не было — несчастья обрушились внезапно, без всяких знаков свыше, так что приготовлений сделать не успели), либо от скученности и духоты (ибо достаточного пространства не было, а тот воздух, что был, испортился, утратив свою полезность из-за [людского] дыхания или, говоря точнее, из-за тяжелых испарений, идущих при дыхании; нагретый и как-то сгустившийся под воздействием огненного начала воздух входил сквозь ноздри и рты горячим и вредным дуновением, добавляя, как говорится, огонь к огню; ибо внутри у нас властвует сила, весьма сходная с огнем, — так устроила природа, и если это внутренний огонь овеивается умеренно прохладными наружными дуновениями, то органы дыхания работают легко из-за благоприятного смешения; когда же эти дуновения нагреваются, то органы дыхания неизбежно работают с трудом, ибо один огонь сливается с другим).

19

И вот, будучи уже не в силах терпеть тесноту, люди хлынули в пустынные места, на побережья и кладбища в надежде вдохнуть чистого, негубительного воздуха. А если кто-нибудь из них опять оказывался в Александрии или являлся из деревни, ничего не зная о постигших нас несчастьях, тому доставалось: и камнями кидали, и черепками царапали, избивали кольями и дубинками, стараясь попасть по самым опасным местам, особенно по голове, и так забивали насмерть.

Иные из числа записных лентяев и лодырей окружили кольцом то малое пространство на самой окраине Александрии, где обретались, как я уже сказал изгнанники, и подобно стражникам наблюдали за ними, как бы кто-нибудь не скрылся. Ибо весьма многие, гонимые крайней нуждой, намеревались бежать, невзирая на смертельную опасность, столь велика была их боязнь, что родные погибнут от голода. Вот этих-то побегов и ждали неусыпно, а пойманных тотчас же уничтожали, всячески изувечив.

А другой отряд стоял у речных пристаней, чтобы хватать всякого еврея, тут причалившего, а вместе с ним его товар. Добровольные стражи всходили на суда, выносили груз на глазах у владельцев, а их самих, связав им руки за спиною, сжигали, бросая в огонь рули, шесты и палубные доски.

Но участь тех, кого сжигали в самой Александрии, была куда более плачевна: когда не хватало дров, приносили хворост и, сделав вязанки, забрасывали несчастных, и те, полусгоревшие, погибали, но больше от дыма, чем от огня, ибо огонь от хвороста безжизненный и дымный, он тотчас гаснет, неспособный вследствие своей легкости сжигать дотла.

А многих, еще живых, волокли по рынку, набросив петли из ремней и веревок и стянув лодыжки, волокли, наступая на них и не щадя даже их мертвых тел, расчленили и топтали ногами, уничтожая самую мысль о том, что можно останки предать земле, — такова была свирепость и жестокость этих нелюдей.

А наместник этой провинции, который мог бы (будь у него желание) один и в одночасье остановить распоясавшуюся толпу, притворился, будто ничего не видит и не слышит, чем развязал ей руки для войны, а мир порушил[18]. И потому, распалившись больше, чернь ринулась осуществлять замыслы еще более бесстыдные и наглые: собравшись толпой, все двинулись к молельням (их много в каждой части города), у одних круша топорами стены, другие срывая до последнего камня, а потом еще поджигали их, забыв в своем бешеном безумии о соседних постройках, — ведь огонь, получив пищу, бежит быстрее всего на свете.

Я умолчу о знаках самодержавного достоинства — о золоченых щитах и венцах, о колоннах и надписях, сваленных в кучу и преданных огню, ради которых было бы нужно и от прочего воздержаться, однако чернь не боялась возмездия от рук Гая и потому исполнилась дерзости, ибо слишком хорошо знала, какую ненависть тот питает к еврейскому племени, и заключала из этого, что не будет для Гая большей улады, чем увидеть ненавистный ему народ ввергнутым в пучину всех возможных ужасов.

И что, вы думаете, они сделали, желая с новой стороны подольститься к Гаю, чтобы потом злобно накинуться на нас без малейшего риска нести за это ответственность? Они осквернили те молельни, которые не сумели стереть с лица земли, предавши огню или срыв до основания, ибо евреи жили тесно и скучно: поправ законы и обычаи народа еврейского они водрузили в каждой молельне изображения Гая, а в самой большой и почитаемой — даже бронзовую статую в виде возницы, правящего четверней. И таково было их рвение, так они спешили, что не имея готовой новой колесницы, доставили из гимнасия весьма ветхую, ржавую и поломанную с боков, и сзади, и в основании, и в прочих весьма многих местах; эта колесница, как говорили некоторые, была посвящена вовсе даже женщине, Клеопатре Старшей, прабабушке последней Клеопатры[19].

Всем ясно, сколь тяжкое обвинение навлекли на себя участники этого посвящения, и будь эта колесница новой, но посвященной женщине, или старой, но посвященной мужчине, все равно тут важно другое — она была посвящена не Гаю. И разве не подобало бы участникам такого посвящения опасаться, что все дойдет до того, кто всегда требовал себе особых священных почестей? А эти надеялись, что их станут превозносить и наделять еще более весомыми и несомненными благами за то, что они обратили молельни в святилища Гая, пусть даже не ради того, чтобы его почитать, но для того, чтобы исчерпать все возможные преступления против еврейского народа.

И есть у нас бесспорные тому доказательства. Начнем с царей: хотя за триста лет их сменилось десять или около того, никто не ставил в молельнях изображений и статуй в их честь, хотя они были свои, родные, они считались, и писались, и звались богами[20]. А почему бы нет? Ведь это были люди, а тут обожествляли и собак, и волков, и львов, и крокодилов, и прочих многочисленных зверей, из тех что обитают на земле, в воде, на небе, и возводили им алтари, святилища, храмы и отводили священные участки по всему Египту.

Теперь они, пожалуй, скажут то, что не сказали бы тогда (ибо такие люди имеют обыкновение чтить более благодеяния правителей, нежели их самих): мол, самодержцы

достоинством и участью своей выше Птолемеев[21], а потому и почести им подобают соответствующие. Тогда скажите мне, вы, глупейшие из глупцов (да избегну я поносных слов!), отчего вы не удостоили такой же почести Гаева предшественника, Тиберия, от которого Гай и получил свою власть?

Ибо Тиберий за двадцать три года, что нес бремя власти над сушей и над морем, не оставил ни единого семени войны ни в эллинской, ни в варварской земле, а мир и сопутствующие ему блага до самой кончины своей раздавал нескудеющей рукой и щедрым своим сердцем. Или родом уступал он? Да нет, он был рожден от благороднейших родителей. Или образованностью? Но кто из столь же высоко вознесенных мог превзойти его умом и красноречием? Или возрастом? Но какой же царь и какой самодержец достиг более счастливой старости? Впрочем, прозвание старца он стяжал уже в молодости, так все благоговели перед его умом. А как же тот, кто превозмог человеческую природу, достигнув всех возможных добродетелей, кто первым был назван Август как в силу величия его самодержавной власти, так и в силу нравственного совершенства, получив этот титул не по наследству как часть общего жребия, нет, в самом себе он нес зерна священного поклонения, доставшегося и его преемникам[22]? Его, кто тотчас овладел смутными и запутанными обстоятельствами, лишь только взял на себя заботу о государственных делах? Ибо материки и острова тогда вступили друг с другом в борьбу за первенство, имея правителей и покровителей из римлян, причем весьма влиятельных; кроме того, Европа с Азией вступили во взаимный спор о том, чья власть сильнее: народы обеих поднялись от самых крайних пределов и тяжело двинулись войною друг на друга по всей земле и морю, так что весь род человеческий чуть было сам себя не истребил, когда бы не один — человек и правитель, Август, достойный именоваться «отвращающий зло». Таков он, Цезарь: он успокоил бури, которые поднялись со всех сторон, он излечил болезни, которыми страдали равно греки и варвары; болезни эти прошли от юга до востока, промчались на запад и на север, обильно засеая все пространство злыми семенами. Таков он, Цезарь: он не только ослабил путы, коими был обвит мир, но сбросил их. Таков он: покончил с войнами, как явными, так и тайными, причина каковых — разбойничьи набеги. Таков он: избавил море от пиратских судов, пустив по нему великое множество торговых кораблей. Таков он: дал свободу всем городам, привел хаос к порядку, укротил враждебные и дикие народы, обустроив их жизнь, Элладу расширил многими Элладами, а варварские земли в главнейших частях настроил на эллинский лад. Все это сделал он, страж мира, дающий всем по нуждам их. Он не скупился на добрые дела — берите все! Он за всю жизнь не утаил ничего доброго или прекрасного.

22

И вот такого-то благодетеля они просмотрели, и за все время, что он правил Египтом, за сорок три года[23], не водрузили в его честь в молельнях ни каменной, ни деревянной статуи, ни единой надписи. Но если и нужно было учредить в чью-либо честь новые исключительные почести, то именно в честь [этого человека], не только потому, что он стал истоком и началом рода Августов, не только оттого, что он — первый величайший всеобщий благодетель, устранивший многовластье и вверивший кормило общего корабля одному кормчему — самому себе, изумительно владеющему искусством власти (ибо неложно говорится: «нет в многовластии блага», и разногласица — причина самых разных зол), но оттого еще, что весь мир воздавал ему олимпийские почести. И свидетельством тому храмы, ворота, портики, дворы пред храмами; мы видим: какой ни возьми город, какие ни возьми в нем великолепные памятники, те, что посвящены

Цезарю, их всегда превосходят красотой и силой, особенно в нашей Александрии. Ибо нет святыни более драгоценной, чем та, которая зовется Августов храм, — храм Цезаря-Эпибатерия[24]. Этот храм возвышается над самыми удобными гаванями[25], такой величественный и отовсюду заметный, и он, как ни один другой, весь полон посвященных даров: он окружен кольцом из надписей, серебряных и золотых статуй; широко раскинуты священные земли храма, тут портики, библиотеки, священные роши, ворота, просторные дворы — все, чем создается роскошь и красота. Храм этот — залог спасения для тех, кто покидает гавань, и для тех, кто возвращается обратно.

23

Итак, поводы у них были весьма убедительные, да и сопротивления они ни в ком бы не встретили, однако никаких нововведений в молельнях сделано не было, и соблюдалась буква закона. Неужели они упустили какой-то знак почтения из тех, что полагались Цезарю? Но кто осмелится утверждать это, будучи в здравом уме? Так почему же они нанесли Цезарю такой ущерб? Отвечу прямо: они знали, как ревностно он заботился об упрочении римлян и всех других народов, а почести принимал не для того, чтобы истребить чьи-либо законы и установленья, но следуя величию власти, коей естественно быть почитаемой. И мы можем доказать неопровержимо, что его никогда не возбуждали и не тешили непомерно раздутые почести: во-первых, он не желал именоваться богом, а если кто-нибудь так называл его — негодовал, а во-вторых, он одобрял евреев, у которых, как было ему доподлинно известно, такие вещи вызывали отвращение. Как выражалось это одобренье? Тиберий прекрасно знал, что большую часть Рима за Тибром населяют евреи. Это были римские граждане, по большей части вольноотпущенники; в Италию они попали как пленники, хозяева дали им вольную, и [никто] не вынуждал их нарушить хоть один обычай предков. Еще он знал, что у них есть молельни и что собираются они там главным образом в священную субботу, когда евреи все вместе обучаются философии предков. Он знал и то, что вырученные от первин деньги они собирают как священные и отправляют в Иерусалим, чтобы там их посланцы совершили жертвоприношения.

Однако он не выдворил их из Рима и не лишил римского гражданства за то, что они продолжали бережно хранить другое свое гражданство, не принял меры против их молелен, и не мешал их сборищам для наставления в еврейских законах, и не препятствовал жертвованию первин, напротив, он так благоговейно чтил веру, что едва ли не при участии всего семейства украсил наш храм роскошными дарами и приказал, чтобы отныне и во веки веков приносились там каждодневные жертвы из его личных средств как дань Всевышнему; эти жертвы приносят и поныне и всегда будут приносить, всем объявляя, каким должен быть истинный самодержец.

И вот что еще удивительно: во время ежемесячных государственных раздач он никогда не ущемлял евреев в их правах на блага, напротив, если даже раздача выпадала на священную субботу, когда не дозволяется ни брать, ни отдавать, ни вообще хоть как-нибудь участвовать в обычной жизни, особенно в делах, сулящих наживу, раздатчики по приказу самодержца сохраняли эти знаки человеколюбия, положенные всем, до следующего дня.

24

А потому, если кто-то где-то и не питал в душе расположения к евреям, то во всяком случае остерегался нарушать какое-либо из их законных установлений, и при Тиберий, конечно, все было неизменно, хотя в Италии все было смутно, пока Сеян готовил нападение[26], ибо Тиберий узнал тотчас же после смерти Сеяна, что обвинения против евреев, населявших Рим, были ложью и клеветой — их измыслил Сеян, желавший покончить с народом, который, он знал, пойдет наперекор нечестивым решениям и деяниям, один или во главе прочих, и встанет на защиту самодержца, которому грозит предательство.

И вот он обязал своих наместников в каждой из вверенных им областей успокоить наш народ — мол, не все наказаны изгнанием, но только виновные, и велел не трогать наших обычаев, но даже считать, что люди эти, миролюбивые по своей природе, и их законы, стоящие на страже устойчивости и порядка, — залог благополучия для римлян.

25

А Гай надулся спесью сверх меры, не только называя, но и считая себя богом. Затем он понял, что среди эллинов и варваров никто не поможет ему лучше укрепиться в его неуемной и превосходящей человеческую меру страсти, чем александрийцы, ибо они — мастера улещать, морочить и притворяться, они всегда готовы к лукавым речам, однако распущенный и разнузданный их язык лишь сокрушает весь порядок вещей. Благоговенье их перед именем Бога таково, что они наделили им и птицу ибиса, и ядовитых гадюк, и многих диких зверей. Таким бездумным употреблением имени Бога они, конечно, обманывают малоумных, не ведающих ничего о безбожии египтян[27], но те, кто знают их легкомыслие и, более того, нечестие, их презирают.

Не ведая этого, Гай решил, что александрийцы его и вправду считают богом, и прежде всего из-за того, что они не прибегали к иносказаниям, но прямо и не скупясь награждали его всеми именами, которыми обычно именуют других богов. Он думал также, что и нововведения в молельнях были сделаны от чистого сердца и только чтобы почтить его. Виною тому было отчасти его внимание к ежедневным памятным запискам, которые присылали ему из Александрии, — это было для него самым сладостным чтением, так что в сравнении с даруемой ими радостью творения других писателей и поэтов казались весьма неусладительными. Отчасти виною тут были некоторые челядинцы Гая — всегдашние его товарищи в насмешках и издевках.

26

Большинство из них были египтяне, порочное семя, смешавшие в душах своих нрав крокодила и яд змеи. Предводителем и как бы запевалой всей египетской братии был Геликон[28], проклятый и проклятый раб, проникший в самодержавный дом ему на погибель. Ибо Геликон вкусил плодов образования благодаря честолюбию своего прежнего хозяина, который и подарил его Тиберию. Тут никакого предпочтения ему оказано не было, ибо Тиберий, будучи почти с самых ранних лет склонен к строгости и благочестию, с презрением относился к отроческим забавам. Но вот Тиберий скончался, и власть досталась Гаю. Тут Геликон, повсюду следуя за новым хозяином, который совершенно распустился и дал полную волю всем своим чувствованиям и желаниям, сказал себе: «Твой час настал, дружище Геликон, проснись, теперь есть у тебя наилучший

слушатель и зритель. Ты остер, ты можешь шутить и злословить удачнее других, ты знаешь, как развлечь, как позабавить пустой и вздорной шуткой, как завладеть вниманием, не менее, чем в школьных науках, ты сведущ в тех, которые не изучают в школах, к тому же ты речист не без приятности. А ежели в насмешках твоих и жало появится, чтобы они рождали не только смех, но и горечь возникших подозрений, то господин твой будет всецело в твоей власти, ведь природа весьма удачно наделила его склонностью услышать в издевке обвинения, ибо ради тех, кто превзошел искусство сплетать хулу с доносом, он весь обращается в слух. Есть и предмет, и лучшего искать не надо — дурная слава евреев с их обычаями; ее ты с детства впитывал, с пеленок познал, и не один учитель был у тебя, но вся самая бойкая на язык часть александрийцев. Так покажи свои знания!»

27

Так рассуждая, бездумно и безбожно, Геликон подстегнул себя и окрутил Гая, не отступаясь от него ни днем, ни ночью, но находясь при нем постоянно, чтобы часы его уединения и отдыха употребить для обвинений против евреев: своими издевками он, лукавейший из лукавых, ублажал Гая, но так, чтобы его одновременно кололи сокрытые там недобрые намеки, ибо Геликон не признавал, что выдвигает обвинения, да и не мог признать, но, мастерски лавируя, он стал более серьезным и опасным врагом, чем записные недруги народа еврейского. И говорят еще, что александрийские старейшины, хорошо обо всем этом зная, тайком ему платили и немало, не только деньгами, но и посулами — мол, как только Гай прибудет в Александрию, будешь осыпан почестями. А тот, грезя о времени, когда в присутствии его господина, а также почти всего мира (ведь было ясно, что из благоговенья перед Гаем тут соберутся, покинув свои пределы, все лучшие, зеница ока каждого из городов), самый великий и самый славный город наградит его, давал любые обещанья.

До поры до времени мы не замечали этого лазутчика, пробравшегося к нам, и потому остерегались лишь внешних врагов; когда же все поняли, то стали изыскивать способы смягчить и приручить этого человека, который отовсюду в нас целится и бьет так метко. Ведь он с Гаем и в мяч играл, и упражнялся, и купался с ним, завтракал и даже сопровождал его отход ко сну, ибо был в должности постельничего и главного телохранителя. Столь высокой должности не занимал никто, и потому Геликон один имел доступ к самодержцу в благоприятные часы его досуга, когда слух его был избавлен от внешних шумов и мог обратиться к тем предметам, которые и были ему приятнее всего. И поношения тут были слиты с обвинениями — всем удовольствие, а нам беда, ибо поруганье, которое, казалось, и было его целью, в действительности было делом второстепенным, а то, что представлялось побочным следствием, а именно, обвинения, было единственной и главной целью. И вот, отпустивши все рифы, как моряки при попутном ветре, он неся на раздутых парусах, сплетая для евреев венки вины. Все это надежно запечатлелось в голове Гая, и жалоб на евреев ему уже было не забыть.

28

В безвыходном и безнадежном нашем положении, испробовав все средства умиловить Геликона и не найдя необходимого, ибо напрямую обратиться или приблизиться к нему никто не решался, зная его кичливый и грубый нрав, который он

обычно всем являл, а также не зная, не из личного ли отвращения к еврейскому племени настраивает он своего господина против нас, мы оставили этот путь и обратились к более весомым средствам: мы решили вручить прошение самому Гаю, где было бы сказано самое главное о наших страданиях и наших требованиях. Прошение это было неким сокращенным изложением более пространной просьбы, которую мы посылали незадолго с царем Агриппой, которому случилось посетить наш город на пути в Сирию, куда он направлялся, чтобы взойти на царство[29]. Конечно, это был самообман и уже в самом начале, как только мы пустились в путь, думая прибыть к судье, который рассудит все по справедливости.

Нет, это был наш смертный враг, но взгляд его лучился такою теплотой, а речи, обращенные к нам, были так приветливы, что мы попались на эту приманку. Так в первый раз он нас приветствовал у Тибра, на равнине (он как раз выходил из садов, оставленных ему матерью): ответив на наше приветствие, он жестом руки обозначил свое благоволение и выслал к нам начальника посольской службы по имени Гомил: мол, самодержец сам выслушает вас при удобном случае. И тут все вокруг стали нас поздравлять, как будто дело уже решилось в нашу пользу; и наши тоже обрадовались — те, кто был обманут пустыми посулами. Но я считал, что понимаю больше, ибо и возрастом, и образованностью превосходил прочих, и был встревожен, а не обрадован: «Но почему же, — говорил я сам себе, взывая к своей способности рассуждать разумно, — почему он, при таком стечении послов почти со всего света, сказал, что выслушает нас? Чего он хочет? Ведь он отлично знает, что мы — евреи, которым и избежать унижения — уже успех. Но думать, что повелитель из иного племени, и юный, и самовластный отдает нам предпочтение, — это безумие! Нет, похоже, что он взял сторону другой части александрийцев, им отдал предпочтение и обещал не медлить с решением, если только он не вовсе оставил мысль о справедливом и беспристрастном суде, став для них защитником, а для нас — обвинителем».

29

Так размышляя, я метался, ни днем, ни ночью не находя покоя. Я совершенно пал духом, однако скрывал свои страдания, ибо показывать их было небезопасно, когда стряслась другая, худшая, нежданная беда, сулившая опасность не одной только части еврейского народа, но сразу всему народу. А дело было так: мы следовали за Гаем до Дикеархеи[30], где он, спустившись к морю, проводил время то в той, то в этой из многочисленных и роскошных своих вилл. Покуда мы обдумывали наше дело (ибо мы все время ждали, что нас позовут), явился человек, глядя исподлобья налитыми кровью глазами и тяжело дыша; чуть отстранившись от толпившихся вокруг, он сказал: «Слыхали новости?» Он собирался продолжить, но не смог — слезы текли ручьями из его глаз. Он снова и снова пробовал заговорить, но тщетно. Видя это, мы кинулись умолять его, чтобы он поведал нам то, ради чего, как уверяет, он пришел: «Ведь ты пришел не для того, чтобы поплакать при свидетелях, и ежели тут есть о чем плакать, раздели свою скорбь со всеми — к несчастьям нам не привыкать».

И он — с трудом, прерывисто дыша — все же заговорил: «Погиб наш Храм: в святая святых его Гай приказал поставить огромных размеров статую в честь Гая-Зевса». Пока мы, изумленные его словами, стояли, оцепенев от ужаса, не в силах двинуться и молвить слово, буквально распадаясь на глазах, ибо ослабили все скрепы наши телесные, прибыли другие, все в тех же корчах и муках. Потом, сбившись тесно, мы стали вместе оплакивать нашу участь, постигшую каждого из нас и весь народ, высказывая все, что

приходило на ум, ибо в несчастьи человек более всего склонен говорить. «Будем бороться, — говорили мы, — дабы не быть ввергнутыми совершенно в беззакония, коим уже не будет прощения. Мы вышли в море в середине зимы, не зная, какая буря подстерегает нас на суше, — она опаснее морской: морская — творение природы, дающей осень, лето, зиму и весну, дарующей спасение, а та, другая — творенье человека, чьи мысли отнюдь не человечесны; он молод и совсем недавно обрел надо всем непререкаемую власть, а молодость об руку с самодержавной властью руководима бывает лишь безудержными порывами, и с этим злом бороться невозможно. И стоит ли идти к нему, пытаясь замолвить слово за наши молельни, — к нему, кто оскверняет главную нашу святыню? Ведь ясно: он не станет думать о скромных и не стяжавших славы молельнях, если ругается над самым святым и знаменитым Храмом, с которым рассветы и закаты сверяются, как с солнцем, повсюду рассылающим свои лучи. Но даже если мы отважимся на встречу с ним, чего нам ждать, кроме неизбежной смерти? Пусть будет так! Мы примем смерть, ибо умереть во имя законов — достославнейшее деяние и потому в каком-то смысле — жизнь. Но если наша смерть окажется бесплодной, безумием будет наша гибель, особенно когда от нас ждут исполнения нашей миссии, ибо тогда поплатятся скорее пославшие нас, нежели мы, прямые жертвы! Все это так, однако самые строгие судьи человеческой природы из наших соплеменников осудят нас: мол, вы так себялюбивы, что не смогли забыть себя даже под угрозой всеобщего краха! Ибо если значительное и общее не будет преобладать над малым и частным, все государство распадется. Разве законно это и благочестиво — стараться показать, что мы — александрийцы, когда опасность нависла надо всей общностью народа еврейского? Ведь вот что страшно: низвергнув Храм, этот великий любитель нововведений прикажет, пожалуй, стереть само имя нашего народа!

И вот, если мы провалим оба дела, ради которых нас снарядили в посольство, скажут, пожалуй, так: «А разве они не знали, что нужно предпринять, чтобы вернуться целыми и невредимыми?» На это я бы ответил так: «Или нет в тебе природного духа благородства, или ты не был вскормлен и воспитан святыми писаниями. Тот, кто поистине благороден, тот исполнен надежд, законы же дают благие надежды тому, кто сердцем постигает их. Вдруг это — испытание поколению нынешнему, насколько сильна в нем добродетель, готово ли оно переносить тяготы, сохраняя твердость и силу разума, не дрогнув. Все, что от человека, уходит, и пусть уходит, но пусть живет в душах неколебимая вера, надежда на Бога, спасителя нашего, который много раз спасал наш народ, когда, казалось, все было кончено».

30

Так мы говорили, оплакивая свои несчастья и утешая себя надеждой на перемены к лучшему. Потом мы обратились к горьким нашим вестникам с такою речью: «Что же вы сидите молча, лишь искрами воспламеняя наш слух и нас самих сжигая — нам нужно знать, что побудило Гая так поступить». А те в ответ: «Важнейшую и первую причину вы знаете не хуже всех прочих: он хочет считаться Богом и думает, что только евреи не будут ему послушны, а для них нельзя придумать большего зла, чем осквернение их Храма, их святыни. Все знают, что этот Храм — красивейший, и чтобы красота его все расцветала, средства на него всегда тратились большие; а Гай, со всеми на свете ссорясь и состязаясь, располагает его присвоить. Сейчас он хочет этого больше, чем прежде, — из-за письма, которое ему направил Капитон^[31]. Этот Капитон — сборщик податей в Иудее и на жителей ее сердит: он был беден, когда явился сюда, однако поборами и покражами сумел собрать большое состояние в разнообразных видах; потом, боясь обвинений, он изобрел

способ их избежать: нужно оклеветать того, с кем поступил не по закону. И тут, благодаря стечению обстоятельств, он смог двинуться по избранному пути. Дело было так: Явне — один из самых населенных городов Иудеи, и живут там многообразные народы, по большей части — евреи, а прочие — иноплеменники, явившиеся в Явне из окрестных мест; эти последние, будучи переселенцами, вредили и доставляли хлопоты исконным (в каком-то смысле) жителям, все время нарушая что-то из еврейских старинных обычаев. Зная от заезжих людей, с какою ревностью относится Гай к своему обожевлению и как враждебен он ко всему еврейскому, они решили, что явился удобный случай напасть на них: они соорудили алтарь — не утруждаясь поиском материала, а просто налепив из глины кирпичей, ибо единственной их целью было спровоцировать соседей, которые, конечно же, не вынесут ниспровержения своих устоев, что и случилось. Увидев, что истинная святость святой земли поругана, они вознегодовали и, собравшись вместе, снесли алтарь. А те тотчас же явились к Капитону, который и затеял это представление». «Ну наконец-то!» — подумал тот и написал Гаю, изрядно раздув дело.

Гай, прочитав письмо, распорядился вместо глиняного алтаря, коварно возведенного в Явне, возвести нечто более роскошное и величественное, а именно, поставить в Иерусалимском храме гигантскую статую — так посоветовали достойнейшие и мудрейшие люди — Геликон, благородный раб, лизоблюд и пройдоха, и Апеллес^[32], трагический актер, который, говорят, в расцвете своей юности торговал ею, а когда отцвел, пошел на подмостки. А тот, кто выступает на подмостках, чье дело — зрители и зрелища, питает, уж конечно, пристрастие к стыдливости и целомудрию, а вовсе не к высшему бесстыдству и безобразию. Вот потому-то и попал Апеллес в число советников Гая, дабы тот мог с одним посоветоваться, как надобно шутить, с другим — как нужно петь, оставив заботу о главном — чтобы повсюду были спокойствие и мир.

Так вот, этот Геликон, скорпион в обличий раба, стал изливать на евреев свой египетский яд, а Апеллес — ашкелонский, был оттуда родом, а жители Ашкелона питают какую-то непримиримую и неискоренимую вражду к своим соседям — евреям, живущим в священной земле».

Каждое слово этой речи впивалось в наши сердца. Однако прекрасные советчики в прекрасных делах быстро стяжали награду за свое безбожие: одного за что-то заключил в оковы сам Гай и тот мучился то на дыбе, то на колесе, а Геликона из-за каких-то других преступлений, совершенных этим безумцем, устранил Клавдий Германик^[33]. Но это случилось позже.

31

По поводу установления статуи Гай написал письмо, в котором принял все меры предосторожности: Петронию^[34], наместнику в Сирии, которому и было адресовано письмо, он приказал перебросить в Иудею половину войск, стоящих у Евфрата для наблюдения за восточными царями и народами — как бы кто-нибудь из них не переправился на этот берег; Гай сделал это не для того, чтобы придать значительность акту посвящения, но чтобы устранить любого, кто стал бы этому препятствовать. Что скажешь, господин? Ты начинаешь войну, предвидя, что евреи не станут попустительствовать попранию закона, но встанут на его защиту, готовые к безвременной гибели за обычаи предков? Ибо ничуть не похоже, чтобы ты действовал, не зная, что может выйти из попытки прикоснуться к Храму, напротив, зная, что будет, как если бы это уже случилось, зная грядущее, как если бы это было настоящее, ты приказал ввести

войска, дабы освятить водружение статуи первыми кровавыми жертвами — закланием несчастных мужчин и женщин.

Петроний, получив такое послание, оказался в трудном положении: воспротивиться он не мог — боялся, ибо знал, что Гай не терпит не только неисполнения приказов, но даже промедленья в их исполнении, но взяться за дело с легким сердцем он тоже не мог, ибо знал, что евреи скорее захотят принять не одну, но тысячи смертей, будь это возможно, чем позволяет нарушить какой-нибудь запрет. Ибо все люди хранят свои обычаи, особенно еврейский народ, ибо евреи считают законы богоизреченными, и в этой мысли они воспитаны с детства, так что все предписания навечно запечатлены в их душах. И вот, видя столь ясно все эти рельефы и фигуры, они думают о них с изумлением, и если какой-то другой народ также питает к ним почтение, его принимают не хуже, чем соплеменников, а тех, кто осуждает или смеется, ненавидят как злейших врагов. И так они трепещут перед каждой заповедью, что никакую удачливость или счастье (не знаю, как лучше это назвать) никогда не купят ценою прегрешенья, пусть даже невольного. Но еще сильнее и совершенно особым образом евреи привязаны к Храму, и вот важнейшее тому доказательство: всякого иноплеменника, проникшего во внутреннюю ограду Храма, непременно карают смертью, хотя во внешнюю его часть пускают всех, откуда бы они ни явились.

Имея все это в виду, Петроний не торопился браться за дело, он понимал, насколько дерзким оно было. И вот, призвав все здравые способности своей души, он стал испрашивать мнение, каждой, как будто в сенате, и все они оказались едины во мнении: нельзя касаться того, что изначально освящено, во-первых, потому, что есть естественное чувство справедливости и благочестия, а во-вторых, потому, что страшно божьей кары и гнева оскорбленных людей.

Петроний стал думать об этом народе: он очень многочислен, но, не получив в удел своей земли, в пределах которой он был бы заключен, подобно любому другому народу, он вынужден хранить свое единство по всему, можно сказать, свету, ибо этот народ рассыпан по всем материкам и островам, так что, кажется, не слишком уступает числом исконным жителям. Так разве не в высшей степени опрометчиво было бы обернуть против себя такие полчища врагов? Впрочем, едва ли они смогут обороняться единым фронтом — такую громаду не двинешь в сражение, однако и жители одной Иудеи бесчисленны, телом крепки, а душой отважны, готовы отдать жизнь за древние свои законы; они влекомы духом (как сказали бы иные из их недругов) варварским, а на самом деле — свободным и благородным.

Пугала Петрония и мысль о войске, стоявшем за Евфратом, ибо он знал — не только из донесений, но и по опыту, что в Вавилоне и многих других областях множество евреев[35]: ведь каждый год священная процессия движется оттуда к Храму с золотом и серебром (в весьма больших количествах), полученным от проданных первин, идя непроходимыми, нехоженными, бесконечными путями, которые для этих людей легки, ибо они полагают, что это путь к благочестию.

Итак, Петроний, судя По всему, изрядно опасался, как бы беспримерное посвящение не заставило евреев подняться и, сойдясь, взять войско в кольцо, чтобы одним ударом покончить с ним.

Все эти соображения и заставляли Петрония медлить. Однако были и иные мысли, которые влекли его в иную сторону: «Молод мой господин и думает: мол, что мне хочется, то и полезно, что решу, то сразу должно быть исполнено, — даже если это

лишено всякой пользы и полно тщеславия и хвастовства, ведь он уже переступил границы человеческой природы, причислив себя к богам. Да, жизнь моя в опасности, куда ни кинь: уступишь — будет война с неясным еще исходом, если вообще исход будет, станешь сопротивляться — и окажешься виновным перед Гаем в неподчинении и инакомыслии».

Это последнее соображение нашло поддержку у римлян — помощников Петрония в сирийских делах, ибо они знали, что им первым достанется от Гая за то, что попустительствовали неисполнению его приказов. Но неожиданно вышла отсрочка, и Петроний смог все обдумать и взвесить, ибо пришлось изготавливать статую, так как Гай ни из Рима ничего не послал (верно, это божий промысел незаметно удержал его руку от несправедного дела), ни в Сирии не велел найти что-либо достойное и отправить в Иерусалим; и если бы не это промедление, тотчас бы разразилась война.

Итак, получив время на размышления (ибо когда все падает разом и неожиданно, и это вещи нешуточные, разум теряется), Петроний распорядился заняться изготовлением статуи в какой-нибудь из сопредельных земель, послал за самыми дельными из финикийских мастеров, дал им материал, и те работали в Сидоне [\[36\]](#).

Одновременно он послал за первосвященниками и начальниками, желая и разъяснить намерения Гая, и дать им совет: мол, стерпите, ведь это повеления господина вашего, и помните, сколь ужасны могут быть последствия сопротивления, ибо наиболее боеспособные части сирийского войска стоят наготове, и они устелят трупами всю страну.

Петроний думал, что, подготовив этих людей, он сможет с их помощью и весь народ отговорить от сопротивления. Но он, как оказалось, ошибался: пораженные, говорят, его первыми словами, они были просто убиты дальнейшим его повествованием о неслыханном зле, и очи их разверзлись, и хлынули нескончаемые потоки слез, как будто открылись какие-то источники; они рвали на себе волосы и бороды, и наконец заговорили: «Да, мы сделали довольно и заслужили счастливую старость — мы, столь удачливые, чтобы увидеть то, чего не видел никто из наших предков! Какими глазами мы будем смотреть на это? Да прежде мы их вырвем вместе с замученной душой и горькой жизнью, чем станем наблюдать все это, чего ни видеть, ни слышать, ни понимать не позволяет высший закон!»

32

Пока они стонали и жаловались, жители священного города и всей страны, узнав о предстоящих событиях, поднялись точно по сигналу — он был подан их общим горем — и, бросив города, деревни и дома, так что они совершенно опустели, единым потоком хлынули в Финикию, ибо там как раз в это время был Петроний. Люди Петрония, увидев, что движется бесчисленная толпа, бросились предупредить его, чтобы тот принял меры предосторожности, — они решили, что придется воевать. Они еще не кончили говорить, Петроний еще не позвал охрану, а толпы евреев, подобно внезапно нашедшей туче, уже покрыли всю Финикию, повергнув в изумление тех, кто не знал, сколь многочислен этот народ. Сначала в толпе поднялся крик вперемешку с плачем и биеньем в грудь, и это было невыносимо для слуха присутствовавших там, ибо крик не прекращался, когда все умолкли, но продолжал отдаваться эхом; потом нужно было подступиться к Петронию с такими просьбами, которые уместны были бы в тех обстоятельствах (несчастья сами учат, как лучше вести себя). Все поделились на шесть групп: старики, мужчины, мальчики, старухи, женщины, девочки. И как только Петроний появился вдали, все шесть как будто

по команде пали ниц, и завывания, похожие на погребальный плач, мешались с мольбами. Петроний их подбодрил — мол, встаньте и подойдите ближе; те, помедлив, встали и подошли, все в пыли и в слезах, с руками заложенными назад, будто связанными. Потом старшие, встав перед Петронием, заговорили: «Мы, как ты видишь, безоружны, хотя иные обвиняют нас, что мы явились, чтобы сражаться. Мы даже убрали данное нам природою средство защиты — руки, заложив их за спину, так что и они теперь бессильны, а сами мы — прекрасная мишень для тех, кто хочет нас убить. Мы привели с собой жен, чад и домочадцев и припадаем к коленям Гая, припав к твоим: или спасите нас всех, или сотрите с лица земли. Петроний! Мы люди мирные и по природе, и по убеждениям, и в этом нас прилежно воспитывали с детства. Мы первыми в Сирии изъявили радость, когда Гай получил верховную власть, ибо тогда Вителлин, твой предшественник^[37], получил известие об этом, и потому радостная весть пошла по городам от нас. И разве для того наш Храм первым принял жертвоприношения во славу Гаева правления, чтобы первым или даже единственным лишиться исконного порядка богослужения? Мы покидаем наши города, бросаем дома и добро; мы отдадим охотно все наше богатство, деньги, всю утварь, ценности и прочее, что мы нажили, и будем при этом в прибыли, а не в убытке. Взамен же мы просим только одного: не делать никаких нововведений в Храме, оставить его таким, каким мы получили его от наших праотцев и предков! Но если мы не убедили вас, убейте нас, чтобы не быть нам свидетелями зла, худшего, чем смерть. Мы знаем, что если станем препятствовать обряду посвящения, двинутся против нас и пешие, и конные войска. Но нет, мы не безумцы, чтобы идти против своего хозяина! С готовностью и радостью мы подставляем горло: пусть в жертву принесут, пусть наше мясо поделят на куски для жертвенного пира — не встретят они сопротивления, не прольется их кровь, пусть совершают все, что подобает победителям! Но войско зачем? Мы сами начнем обряд — и лучших жрецов не сыщешь. И жен возложат на алтарь женоубийцы, сестер и братьев — сестро- и братоубийцы, отроковиц, и отроков, и чад невинных — детоубийцы (так говорят в трагедиях, но этот язык и нужен, когда случилась трагедия). Потом, встав среди них и омывшись родной кровью (такое омовение подобает тем, кто хочет чистым сойти в Аид), мы с ней смешаем собственную кровь, заколовшись над их телами. А после нашей смерти издайте указ, чтобы сам Бог не гневался на нас, ибо цель наших действий была двоякой — и самодержца не задеть, и священных законов не нарушить. И это нам удастся, только если мы уйдем из жизни, пренебрегши ею, уже невыносимой для нас. У греков есть древняя легенда — ее передают ученые мужи, и все они единодушны в том, что голова Горгоны обладала такою силой, что всех, кто только взглянет на нее, тотчас же превращала в камень или скалу. Это, похоже, вымысел, а то, что в этой легенде правдиво, открывается в обстоятельствах чрезвычайных и прискорбных: гнев господина рождает смерть или нечто весьма на нее похожее. Подумай, а если (но это никогда бы не могло случиться!) кто-то из наших увидел бы, как статую торжественно везут к Храму, разве не окаменел бы он, разве не оцепенели бы навеки члены его, не остановились бы глаза, разве все тело его не изменилось бы, утратив природное движение в каждой из слаженных частей его?! Петроний! Выслушай последнюю и самую законную просьбу! Нет, мы не говорим: «не исполняй приказа!», но на коленях умоляем — помедли, чтобы нам избрать и отправить послов для встречи с самодержцем! Быть может, наше посольство убедит его — или поведав о нашем почтении к Богу, или рассказав о том, как мы блюдем наши законы, или объяснив, что мы заслуживаем не худшего обращения, чем все народы (включая те, что обитают в самых отдаленных пределах), которые хранят заветы предков, или напомнив о том, что дед его и прадед признали законным наши обычаи и уважали их. Быть может, услышав все это, он смягчится: сужденья великих меняются, а те, что порождены гневом, даже быстрее теряют силу. Мы стали жертвой клеветы, позволь нам опровергнуть ее, ибо тяжело быть осужденным без суда. А если мы не убедим его, что помешает тебе исполнить то, что ты задумал уже сейчас? а покуда не отнимай надежду на

лучшее у этой тьмы народа, который ревнует не к корысти, но к благочестию. Впрочем, неверно так говорить, ибо есть ли большая корысть для человека, чем благочестие?»

33

Все это они говорили в тревоге и сильном волнении — вздыхая, задыхаясь, обливаясь потом, исходя слезами, и в слушателях уже проснулось сочувствие, а сам Петроний, будучи от природы нрава доброго и кроткого, проникся и речами евреев, и видом их и решил, что слова их справедливы, а очевидные страдания достойны жалости. Петроний удалился с членами совета на совещание, и тут он увидел, что недавние решительные противники евреев впали в сомнения, а те, кто колебался, уже по большей части склонились к состраданию, что обрадовало Петрония, хотя характер его начальника был ему известен, равно как и его гневливость и злопамятность. Похоже, и в нем самом теплился огонь еврейской философии и веры: или он воспринял это когда-то давно, из ревности к образованию, или, напротив, недавно, после назначения в эти земли, где евреев в каждом городе — и в Азии, и в Сирии — весьма много; или сама природа, себе внимая, повинувшись себе и обучая себя, расположила душу Петрония к тому, что достойно рвения. А людям добродетельным Бог посылает благие решения — так творящие добро обретают поддержку. Так вышло и с Петронием. Что же он решил?

Не торопить мастеров, но убедить их отделать статую со всем возможным мастерством, стараясь насколько это в их силах не отставать от прославленных образцов в их долговечности, ибо срок сделанного наспех весьма краток, а то, к чему приложен труд и знания, имеет основание к долголетию.

Посольство, о котором евреи просили, не разрешать — это опасно. Желаящим обратиться со своим делом к их общему властителю и господину не препятствовать, однако толпе не высказывать ни возражения, ни согласия — то и другое равно опасно.

А Гаю отправить письмо, где он не станет ни обвинять евреев, ни открывать истинный смысл их мольб и челобитья, но объяснит задержку с установлением статуи тем, что, во-первых, ее изготовление потребует определенного времени, а, во-вторых, время года дает серьезные основания для отсрочки, с которыми и сам Гай не только может, но и должен согласиться. Ведь хлеб и прочие посевы уже поспели, и как бы люди, отчаявшись сберечь заветы предков и не дорожа более своей жизнью, не опустошили или не подожгли поля; так что он, Петроний, попросит дать стражу для более тщательного надзора за сбором урожая — не только посевов, но и плодов. Ведь Гай, как стало известно, задумал плыть в египетскую Александрию, однако столь великий властитель не сочтет, конечно же, возможным пуститься в открытое море — там опасно, а потому потребуется множество судов сопровождения и телохранителей; все это можно облегчить, избрав кружной путь вдоль Азии и Сирии, ведь так он, Гай, сможет каждый день приставать к берегу, не отклоняясь при этом от пути; к тому же он сможет идти не с грузовыми, но с военными судами, причем весьма многочисленными, — им удобнее идти вдоль берега, тогда как грузовым — в открытом море. А потому необходимо будет заготовить корм для скота и провиант во всех сирийских городах и прежде всего — в прибрежных, ибо за Гаем последует бесчисленная толпа народу — и сушею, и морем, не только из Италии и самого Рима, но из всех провинций вплоть до Сирии; тут будут и власть имущие, и воины (всадники и моряки), и челядь, числом не уступающая воинам. А стало быть, нужно подсчитать, сколько потребуется средств не только на самое необходимое, но и на ту преизбыточную роскошь, которой требует Гай. И если, думал

Петроний, Гай получит такое письмо, он, может быть, не станет более досадовать и увидит, что дело отсрочилось не ради ублажения евреев, но ради сохранения урожая, а потому одобрит нашу прозорливость.

34

Товарищи Петрония похвалили его замысел, и он велел составить письма и назначил письмоносцев — легких на подъем и научившихся в своих путешествиях выбирать кратчайший путь.

Посланцы Петрония, явившись, передали письмо Гаю; тот еще, читая, стал надуваться и с каждой строчкой, проникая в смысл ее, все больше распалялся гневом. Закончив чтение, он захлопал в ладоши со словами: «Отлично, Петроний, ты не умеешь повиноваться самодержцу, ты слишком надменен — испортила тебя черед должностей. Сдается мне, что до сих пор ты даже понаслышке не знаешь Гая, но очень скоро узнаешь на деле. Смотрите, он печется о законах евреев, моих злейших врагов, а властительными приказами правителя пренебрегает! Евреев очень много? А как же войска, которые держат в страхе все народы востока и даже самих парфян? Наверное, ты пожалел их! Тогда, выходит, ты жалости служишь, не Гаю! Отговаривайся, отговаривайся жатвой! Скоро иную жатву бесприменно снимут с твоей шеи! Ссылайся, ссылайся на сбор плодов и приготовления к нашему прибытию! Да если бы случился в Иудее большой недород, разве ее соседи не достаточно многочисленны и удачливы, чтобы сделать все нужные запасы и восполнить нехватку? Впрочем, зачем излагать дело раньше дела? Зачем кому-то знать мои соображенья? Пусть их узнает первым и на себе тот, для кого готовится вознаграждение. Я кончил говорить, но не закончил думать».

И вот, немного выждав, Гай продиктовал кому-то из писцов ответ Петронию, где весьма хвалил его за проницательность и умение предвидеть. Ибо Гай весьма опасно относился к местным властям, видя, что у них все готово для нововведений, особенно в больших провинциях, под чьим началом было большое войско — такое, как у Евфрата в Сирии.

Так Гай до времени прятал за почтительными словами свой гнев, а был он разгневан страшно. В конце письма Гай выражал желанье, чтобы Петроний заботился прежде о скорейшем водружении статуи, ибо урожай (как подлинная причина или просто основательный предлог для отсрочки) уже, должно быть, собран.

35

Вскоре явился к Гаю царь Агриппа с обычными изъявлениями почтения и восторга. Он совершенно не знал, о чем писал Петроний Гаю и что писал сам Гай в обоих своих письмах. Однако порывистые движения и беспокойные глаза Гая выдавали его скрытый гнев. Агриппа стал раздумывать и спрашивать себя на все лады, обращая свой мысленный взор ко всем предметам, важным и незначительным: «Не совершил ли я — словом или делом — что-нибудь недозволительное?» Ничего подобного не обнаружив, Агриппа предположил (и это было весьма правдоподобно), что Гая прогневал кто-то другой.

Но Гай продолжал смотреть исподлобья и взор его был прикован не к кому-то из присутствующих, но к одному Агриппе, и тогда Агриппа испугался, но удержал вопросы, готовые сорваться с языка; он рассуждал так: «А вдруг я навлеку на себя грозу, которая собирается не надо мной, и мне припишут любопытство, дерзость и даже наглость?» От Гая не укрылось волнение и замешательство Агриппы, ибо он был мастер судить о внутренних движениях человека по наружности. «Ты в замешательстве, Агриппа? — спросил он. — Я помогу тебе. Неужели ты, проведя со мною столько времени, не знаешь, что и глазами (и даже лучше, или, во всяком случае, не хуже), чем словами, я умею сказать, что думаю? Твои прекрасные сограждане, которые единственные в мире не признают божественной природы Гая, до того разнуздались, что просто напрашиваются на смерть: я приказал поставить в Храме статую Зевса, а они всем миром бросили деревни и города, как будто бы для молеб, а в самом деле для того, чтобы сопротивляться моим приказам».

Гай собирался добавить еще что-то, как вдруг Агриппа, переживавший все это время внутреннюю борьбу, стал быстро меняться в цвете: лицо его, сначала багровое, стало мертвенно-бледным, потом синюшным. И вот его уже било крупной дрожью, все члены сотрясались, все скрепы телесные распустились и повисли, и в конец расслабившись, он чуть было не рухнул, если бы стоявшие рядом не подхватили его; эти же люди, получив распоряжение, отнесли его домой на носилках, и тот в беспамятстве еще не понимал всей меры несчастья.

А Гай с еще большим ожесточением продолжал изливать свою ненависть к еврейскому народу: «Если даже Агриппа, мой самый близкий и любимый друг, столькими благодеяниями связанный со мною, настолько подчиняется их обычаям, что слышать не может, как их бранят, и так разволновался, что чуть с жизнью не простился, то чего я могу ждать от других, для которых вообще нет никакого противовеса?»

Агриппа же весь первый день и большую часть следующего был в глубоком беспамятстве, не сознавая ничего, что делалось вокруг, но к вечеру приподнял голову, чуть приоткрыл тяжелые веки и повел затуманенными глазами, не будучи в силах увидеть окружающие его предметы — все перед ним сливалось. Потом он снова уснул, но это был уже целительный сон, о чем свидетельствовало и его дыхание, и общий вид. Потом он пробудился и спросил: «Где я? У Гая? Неужели и господин мой здесь?» Ему ответили: «Крепись, ты у себя, и Гая тут нет. Ты спал и отдохнул как следует, теперь повернись, приподнимись и обопрись на локоть: смотри, здесь все свои — те из друзей, отпущенников и челяди, кто более всего к тебе привязан и кому ты платишь тою же монетой». Агриппа — он начал приходить в себя — увидел общее сочувствие; когда врачи велели почти всем покинуть комнату больного, чтобы они могли умещениями и надлежащей пищей подкрепить его, Агриппа сказал: «Нужно ли вам думать о моем столе? Разве не довольно будет мне, несчастному, самой скудной пищи, рассчитанной удовлетворить самые насущные потребности? Впрочем, и это я мог бы принять только ради последней помощи страждущему народу, о чем я мечтаю». Заплакав, он заставил себя что-то проглотить, ничем не сдобрив, не выпил даже разбавленного вина, только отпил воды. «Ну, долг моему бедному желудку возвращен сполна; а мне теперь что делать? Только высказать Гаю свои просьбы касательно нынешних обстоятельств».

Агриппа взял дощечку и стал писать: «Мой страх и стыд, владыка, не дали мне лично беседовать с тобою: мой страх не мог сопротивляться угрозам, а чувство стыда не выдержало груза моего почтения к тебе. Теперь письмо откроет мою просьбу — ее несущ тебе как масличную ветвь.

Всем людям, самодержец, от природы дается страстная любовь к отчизне, глубокая привязанность к своим законам, и тут тебя учить не надо — ты любишь отчизну всем сердцем, всем сердцем чтить обычаи отцов. И каждому народу прекрасным кажется свое (пусть это на самом деле не так), ибо тут дело более в расположении чувств, нежели в разумных соображениях. Я, как ты знаешь, еврей, родился в Иерусалиме, где стоит верховный Храм Всевышнего. Деды мои и прадеды были царями, но большая их часть носила звание «первосвященник», и свой священный сан они ставили выше царского звания, считая, что первосвященник настолько выше царя, насколько Бог выше человека. Ибо один служит Богу, другой заботится о людях. И ежели мой жребий таков, и это мой народ, моя отчизна, мой Храм, то я прошу за всех.

Скажу (дабы не создавалось ложного мнения): этот народ всегда испытывал благочестивый трепет перед вашим домом, и во всем, что дозволяют и требуют законы благочестия, ничуть не уступал другим народам Азии и Европы: молитвы, приношения в храмах, обильные жертвы, не только праздничные, но и ежедневные. И в этом видно благочестье моего народа — не то, что на языке, но то, что в глубине души, когда не признаются Цезарю в любви, но любят его.

Должен я сказать и о Святом Городе: как я уже сказал, это мой родной город, но это и метрополия не только Иудеи, но многих других земель, ибо когда-то еврейские переселенцы обосновались как в сопредельных странах — в Египте, в Финикии и в Сирии (и в той, что зовется «Дольная»[\[38\]](#), и в другой), так и в далеких — в Памфилии, Киликии и в Азии вплоть до Вифинии и самых отдаленных заливов Понта, и точно так же в Европе — в Фессалии, Беотии, в Македонии, в Этолии, в Аттике, в Аргосе, в Коринфе, в большинстве лучших земель Пелопоннеса. Но не только материка — и самые славные острова (Эвбея, Кипр и Крит) полны еврейских поселений. Не говорю о землях за Евфратом, ибо за малым исключением везде — и в Вавилоне, и в прочих областях, где почва плодородна, живут евреи. Так что ежели достанется моему городу часть твоего благоволения, благодетельствованным окажется не один город, но тысячи во всех частях света — в Европе, в Азии, в Ливии, на материках и на островах, на побережьях и вдали от моря. Как это сообразно с величием твоей судьбы — благодетельствовав один город, благодетельствовать тысячи других, так чтобы во всех уголках мира тебя воспевали и славил и отзвуки похвал мешались бы с благодарственными кликами. Отечества иных своих друзей ты целиком счел достойными римского гражданства, и недавние рабы сами обрели рабов. И это благодеяние даже больше радует тех, кто стал невольным его участником, чем тех, кто вкусил его сполна. Я сам из тех, кто знает, что есть у него владыка и господин, однако причислен к его друзьям, и пребываю в таком почете, что почти никто не может со мной сравниться, а большего расположения вообще никто не добивался. И вот, поскольку я по природе своей таков и столько знал твоих благодеяний, я должен был бы осмелиться просить тебя если не о римском гражданстве для своего отечества, то о свободе или отмене податей, однако я не решаюсь высказывать столь дерзкие просьбы. Моя просьба самая необременительная: о милости прошу, которая тебе не стоит ничего, а родине моей будет в высшей степени полезна, ибо может ли быть большее благо для подданных, чем благоволение правителя? Это в Иерусалиме, самодержец, впервые возвестили о долгожданном твоём преёмстве, это отсюда разнеслась слава о нем по обоим материкам; и это тоже делает Иерусалим достойным твоего особого внимания. Ибо как в семье старший из детей имеет право первородства, ибо первым

назвал отцом и матерью своих родителей, так и этот город, первым из городов Востока назвавший тебя самодержцем, имеет все права на большие или, по крайней мере, равные со всеми блага.

И заключая защитную мою речь и одновременно прошение, я излагаю просьбу касательно Храма. С тех пор, владыка, как стоит этот Храм, он не знал ни единого рукотворного изображения, ибо там пребывает истинный Бог; творенья же художников и ваятелей суть подражания зримым богам, а запечатлевать Бога незримого считалось нашими предками неблагочестивым делом. Агриппа, твой дед^[39], сам прибыл, чтобы почтить наш Храм, и Август почтил его тем, что повелел отовсюду присылать туда первины и неукоснительно приносить там жертвы, и прабабка твоя <* * *> Итак, никто — ни эллин, ни варвар, ни наместник, ни царь, ни смертный враг, ничто — ни мятежи, ни войны, ни плен, ни грабежи не стали причиной столь серьезных нововведений в Храме как водружение статуи из камня или дерева либо чего-то иного, сотворенного руками человека. И даже если была неприязнь и враждебность к обитателям этой страны, какой-то страх и стыд удерживали от нарушения каких-нибудь исконных установлений во славу Создателя и Отца всего. Ибо было ясно, что за такие и подобные дела Бог посылает неисцелимые несчастья. По этой причине все остерегались посеять семена неблагочестия, боясь, как бы не пришлось пожинать плоды, созревшие на общую погибель.

37

Но зачем мне призывать в свидетели чужеземцев, когда я могу представить тебе множество ближайших твоих родственников? Вот Марк Агриппа, твой дед по матери: он прибыл в Иудею в царствование Ирода, моего деда, Агриппа решил, что нужно подняться от моря в столицу, в глубь материка; увидев храм, облачения священников и обряды, благоговейно творимые местными жителями, он восхитился и решил, что увидал что-то такое, чье священное великолепие выше человеческого понимания; и с теми, кто был тогда при нем, он говорил только о Храме, превознося его и все связанное с ним. И сколько дней он оставался в Иерусалиме из любезности к Ироду, столько дней он приходил к святилищу и с наслаждением наблюдал и приготовления к обряду, и жертвоприношения, и порядок богослужения, и величественного первосвященника, который в священном одеянии творил священный обряд.

Украсив Храм всеми подобающими дарами, осыпав жителей всеми возможными — но только не во вред! — благодеяниями, щедро обласкав Ирода и будучи в ответ обласкан сам еще щедрее, Агриппа был препровожден до гавани, и провожал его не один город, но вся страна, и благочестие его стало предметом нескончаемого восхищения.

А другой твой дед, Тиберий Кесарь^[40]? Разве не тем же путем он шел? Во всяком случае, все двадцать три года своего правления он свято хранил обряд богослужения, передававшийся от поколения к поколению с незапамятных времен, не сдвинув и не нарушив ни единой части его.

38

А вот тебе в придачу образец его честолюбия, и хоть при жизни Тиберия мне весьма часто приходилось несладко, правда мне дорога, а тебе почетна. Одним из людей

Тиберия был Пилат[41], ставший наместником Иудеи, и вот, не столько ради чести Тиберия, сколько ради огорчения народа, он посвятил во дворец Ирода в Иерусалиме позолоченные щиты; не было на них никаких изображений, ни чего-либо другого кощунственного, за исключением краткой, надписи: мол, посвятил такой-то в честь такого-то. Когда народ все понял — а дело было нешуточное, то, выставив вперед четырех сыновей царя, не уступающих царю ни достоинством, ни участью, и прочих его отпрысков, а также просто властительных особ, стал просить исправить дело со щитами и не касаться древних обычаев, которые веками хранились и были неприкосновенны и для царей, и для самодержцев.

Тот стал упорствовать, ибо был от природы жесток, самоуверен и неумолим; тогда поднялся крик: «Не поднимай мятеж, не затевай войну, не погуби мира! Бесчестить древние законы — не значит воздавать почести самодержцу! Да не будет Тиберий предлогом для нападков на целый народ, не хочет он разрушить ни один из наших законов. А если хочет — так скажи об этом прямо приказом, письмом или как-то иначе, чтобы мы более не докучали тебе, избрали бы послов и сами спросили владыку».

Последнее особенно смутило Пилата, он испугался, как бы евреи в самом деле не отправили посольство и не обнаружили других сторон его правленья, поведая о взятках, оскорблениях, лихоимстве, бесчинствах, злобе, непрерывных казнях без суда, ужасной и бессмысленной жестокости. И этот человек, чье раздражение усугубило природную гневливость, оказался в затруднении: снять уже посвященное он не отваживался; к тому же он не хотел сделать хоть что-нибудь на радость подданным; но вместе с тем ему были отлично известны последовательность и постоянство Тиберия в этих делах. Собравшиеся поняли, что Пилат сожалеет о содеянном, но показать не хочет, и направили Тиберию самое слезное письмо.

Тот, прочитав, как только не называл Пилата, как только не грозил ему! Степень его гнева, разжечь который, впрочем, было непросто, описывать не буду — события скажут сами за себя: Тиберий тотчас, не дожидаясь утра, пишет Пилату ответ, где на все корки бранит и порицает за дерзкое нововведение, и велит безотлагательно убрать щиты и отправить их в Цезарею[42], ту, что стоит на побережье и названа в честь твоего деда, а там посвятить в храм Августа, что и было сделано. Тем самым ни честь самодержца не была поколеблена, ни его обычное отношение к городу.

39

Итак, тогда это были щиты безо всяких изображений — теперь это огромная статуя. Тогда посвящение состоялось в доме, а нынешнее будет в самом сердце Храма, в святая святых его, куда и верховный жрец входит один раз в год, во время поста, как он зовется, чтобы воскурить фимиам и помолиться по обычаю предков за изобилие благ, за урожай и мир для всех. И если кто-нибудь (не говорю о людях обычных, но даже кто-то из священников и даже не низших, но тех, чье место сразу после первого), войдет туда сам или с первосвященником, и более того, если даже сам первосвященник войдет туда два раза в год или в один и тот же день три или четыре раза, смерть ожидает его. Так наш законодатель охранял самое сердце Храма, желая, чтобы оно одно оставалось недоступным и неприкосновенным. И сколько, ты думаешь, смертей добровольно примут те, для кого все это священо, если увидят в сердце Храма статую? Мне кажется, они сначала заколют всех своих вместе с детьми и женами, а потом над телами родных принесут в жертву и себя. Все это Тиберий знал.

А что же твой прадед[43], наилучший самодержец из всех когда-либо бывших, который первым стал зваться «Август» за добродетель и счастливую свою судьбу, который повсюду сеял мир, на суше и на море, вплоть до границ Вселенной? Когда ему поведали о Храме и о том, что нету там ни одного рукотворного изображения, зримого подобия незримой сущности, он восхитился, ибо философию не только пробовал на вкус, но в полной мере вкусил и продолжал вкушать едва ли не каждый день, черпая одно из глубин памяти, усвоившей некогда уроки философии, другое — из общения в привычном кругу ученых людей, ибо в пиру он большую часть времени общался с людьми образованными, чтобы доставить пищу по вкусу не только телу, но и душе.

40

Бесчисленными свидетельствами я мог бы удостоверить истинный образ мысли прадеда твоего Августа, но ограничусь двумя. Во-первых, это письмо, которое он направил наместникам азиатских провинций, узнав, что к священным первинам отнеслись с пренебрежением; в письме он распорядился, чтобы евреям позволили собираться в молельнях: ведь эти собрания, он объяснял, не пьяные сборища дебоширов, всегда готовых к бунту, чтобы испортить дело мира, но школа нравственности и справедливости, где мужи, упражняясь в добродетели, собирают первины каждого урожая, чтобы на вырученные деньги совершить жертвоприношения в Иерусалимском храме, отправив туда священное посольство. И в этом же письме Август распорядился, чтобы никто не мешал евреям ни собираться, ни делать взносы, ни отправлять по обычаю предков послов в Иерусалим. Таков был если не текст, то смысл его письма. А дальше, дабы убедить тебя, я прилагаю письмо Гая Норбана Флакка[44], в котором тот излагает содержание посланья Кесаря. Вот копия: «От Гая Норбана Флакка, проконсула, эфесским властям привет. Цезарь писал мне, что евреи, где бы ни находились, сходятся по древнему своему обычаю и собирают деньги, чтобы отправить в Иерусалим. И Цезарь не хочет, чтобы им чинили препятствия. Я пишу, дабы воля Цезаря стала вам известна».

Разве это, самодержец, не говорит нам ясно об убеждениях Цезаря, следствием которых было почтительное отношение к нашему Храму? Он не хотел переустроить собрания евреев, куда они сходились ради первин и прочих благочестивых дел, по общему образцу и тем самым покончить с ними.

Другой пример не хуже — он со всей ясностью говорит об образе мыслей Августа: он распорядился приносить ежедневно из своих личных средств жертвы высшему Богу, и этот порядок сохранился до сего дня. Два ягненка и бык — вот жертва, которой Цезарь очищает алтарь. Впрочем, столь великий правитель и философ, первый во всем, рассудил, что в земных храмах непременно должно быть особенное место, которое, будучи священным, принадлежит незримому Богу, где нет зримых образов, где приобщаются к благим надеждам и вкушают совершенных благ. Имея такого наставника в делах благочестия и прабабка твоя Юлия Августа[45] украсила Храм золотыми бокалами и чашами для возлияний и множеством других роскошных даров. А что ее заставило так поступить? Ведь сужденья женщин сильнее в области чувственно воспринимаемых предметов, а оказавшись за ее пределами, бывают не в силах постигнуть предметов умопостигаемых. Но Юлия и тут, как и во всем другом, выделялась из женского сословия: благодаря безупречному воспитанию, которое способствовало развитию и упражнению природных качеств, ум ее стал мужским и настолько острым, что лучше видел предметы умопостигаемые, чем воспринимаемые чувствами, считая последние лишь тенью первых.

Так вот, владыка, имея перед собою эти примеры более мягких убеждений, столь близких и родных тебе, давших тебе жизнь, взрастивших тебя и давших такую силу, сбереги все то, что берег каждый из них. Законы просят защиты у самодержцев от самодержца, у Августов — от Августа, деда и предки у дедов и предков — от их потомка, у многих — от одного! Ты слышишь: «Не разрушай законов, коим мы дали приют и сохранили до нынешнего дня! Ведь даже если мы не получим ответного удара, грядущее неведомо и внушает страх даже самым отчаянным, если они не вовсе презрели божественный закон».

Если я стану перечислять благодеянья, которые ты оказал мне, не хватит дня; к тому же не годится мимоходом говорить о важном — это предмет иного рассуждения. Впрочем, если я даже умолкну, события сами возопят, заставив говорить о них. Ты снял с меня оковы, все это знают [\[46\]](#). Но, умоляю, не затягивай на мне путы еще более страшные, ибо те, от коих я был освобожден, сковали лишь часть моего тела, а эти обовьют душу, чтобы сковать ее во всех частях. Ты уничтожил вечную угрозу смерти, ты вновь раздул во мне искру жизни, когда я был уже мертв от страха, и я, воскреснув, встал. Так не лишай меня своей милости и теперь, самодержец, чтобы твой Агриппа не свел счеты с жизнью; в противном случае мне будет казаться, что меня освободили не ради моего спасенья, но ради того, чтобы я, принявши еще более тяжкий груз несчастий, нашел еще более бесславный конец. Ты даровал мне лучшую и величайшую участь — быть царем, сначала в одной стране, потом в другой и большей, прибавив Трахон (как она зовется) и Галилею [\[47\]](#), а потому, владыка, одарив меня сверх всякой меры, не отнимай необходимого и не ввергай в самый глубокий мрак, прежде поднявши к сиянию и свету. Не нужен мне весь этот блеск, не вымаливаю я недавнего своего счастья, я все готов отдать, лишь бы законы предков остались нетронуты! Каков я буду в глазах моих соплеменников и вообще всех людей? Одно из двух: или я предал своих, или нет больше нашей дружбы. Какое из двух зол страшнее? Ведь если я по-прежнему причислен к кругу твоих друзей, меня расславят как предателя, если только моя отчизна не будет избавлена от всякого зла, а Храм останется неприкосновенным. Ибо вы, сильные мира сего, желая соблазнить интересы друзей и тех, кто пользуется вашим покровительством, обычно не стесняетесь употребить свое могущество. Но если закралось в твою душу какое-то враждебное чувство ко мне, не заключай меня в темницу, как это сделал Тиберий, но вели тотчас устраниться, уничтожая тем самым мысль о новом заключении. Что мне за радость жить — мне, для которого единственным залогом благополучия было твое расположение?»

И вот, скрепив письмо печатью, Агриппа отправляет его Гаю и закрывается в доме, волнуясь, и тревожась, и размышляя более всего о том, как сложатся события, ибо опасность была нешуточная — дело шло о выселении евреев, их обращении в рабство и даже о полном их уничтожении не только в Священной Земле, но и во всем мире.

Гай, читая письмо, с каждой строчкой все больше раздражался, ибо видел в нем доказательства своей неправоты, но вместе с тем он стал склоняться под грузом справедливых требований и просьб, а самому Агриппе и благодарен был, и сердился на

него: он обвинял его в излишней привязанности к соплеменникам — единственным, кто вышел из повиновения и отказался признать его, Гая, божественную природу, а благодарен был за то, что тот ничего не скрыл, не утаил, и это, говорил Гай, выдает нрав самый свободный и благородный.

И вот, смягчившись, по всей видимости, он удостоил Агриппу весьма благосклонного ответа и сделал ему бесценный подарок — дал обещание, что посвящение статуи не состоится; велел он написать и Публию Петронию^[48], сирийскому наместнику, чтобы в Храме евреев все оставалось по-прежнему.

Однако и милость Гая была с изъясном — она внушала самые тяжелые опасения, ибо приписка гласила: «Но если кто-то в соседних с Иерусалимом землях захочет возвести алтарь, воздвигнуть храм, или какое-то изображение, или статую в мою честь, а ему станут препятствовать, то виновников или наказать на месте, или отправить ко мне».

А это было не что иное, как начало противостояния и гражданских войн — так Гай коварно отнимал подарок, который, казалось, сделал от души, ибо легко могло случиться, что одни, более из ненависти к евреям, чем из благоговения перед Гаем, заполнят всю страну такими посвящениями, а другие, видя, как на глазах рушатся их древние устои, не стерпят, хотя бы и были они тишайшими людьми, а Гай, жесточайшим образом наказав этих насильно выведенных из себя людей, опять велит водрузить статую в храме.

Но промыслением и заботой всевидящего и всем справедливо управляющего Бога никто из соседей ни разу не вызвал раздражения евреев, так что и повода не было к тому, чтобы вполне справедливые возражения родили неотвратимую беду. Но что пользы в этом! Почему? Тут всякий мог бы дать ответ: да потому, что если те хранили спокойствие, то Гай не успокоился: он уже раскаивался в своем милосердии и снова раздувал огонь недавнего желания; он отдает приказ изваять другую гигантскую статую — из меди, с позолотой, но на этот раз в Риме, а ту, в Сидоне, не трогать, дабы не взволновать толпу; потом, пока народ спокоен и ни о чем не подозревает, негласно и незаметно доставить эту статую на кораблях и неожиданно для всех воздвигнуть в Храме.

43

Все это Гай собирался сделать во время прибрежного плавания в Египет. Ибо какая-то невыразимая страсть влекла его к Александрии, он всеми силами стремился туда, а прибывши, оставался очень долго, считая, что этот город единственный и породил обожествление, о котором он грезил, и дальше поможет взрастить его; при этом, думал Гай, Александрия всем прочим городам дала пример, будучи величайшим и прекраснейшим городом мира, ибо великим — и людям, и городам — все менее значительные люди и народы всегда стремятся подражать.

Впрочем, Гай и во всех других делах был ненадежен, и если случалось ему совершить что-то достойное, тотчас передумывал, и находил, как бы и это благое дело искоренить, тем самым причинив еще больший вред. Вот что я имею в виду: однажды он без всяких на то причин освободил каких-то заключенных, потом снова отправил их в заключение, навлекши на них еще более тяжкую беду — отчаяние. А в другой раз он приговорил к ссылке тех, кто ожидал казни — отнюдь не в сознании вины, достойной столь ужасной кары, или вообще какого-нибудь, пусть более мягкого, наказания, а просто потому, что непомерная суровость судьи не давала им надежды избежать наказания.

Изгнание стало для этих людей неожиданной радостью, равносильной возвращению в отечество, ибо они считали, что избегли самой страшной опасности — смерти. Однако прошло немного времени, и Гай отправил своих солдат, и этих людей, в высшей степени добродетельных и благородных, которые жили на островах как у себя на родине и ощущали свое несчастье как величайшее счастье, всех разом уничтожил, меж тем как никакого нового повода они не подали, и этим причинил неожиданную, а потому самую острую боль лучшим домам Рима.

А если он давал кому-то деньги, то не взаймы и не ссужая под проценты, нет, Гай считал, что его обокрали, и за это виновникам полагалось жесточайшее наказание, ибо не довольствовался тем, что несчастные возвращали долг, — в придачу они отдавали ему все свое состояние, которое либо досталось им в наследство от родителей, родных или друзей, либо было добыто своими трудами. А людей видных и полагающих себя в чести у самодержца, Гай заставлял страдать иным способом, получая удовольствие и покрываясь маской друга: он посещал их без разбора и без спроса, нагрянув неожиданно и заставляя их сильно тратиться и на прием, и на угощения, ибо обыкновенно на приготовление одного только обеда уходило все их состояние и приходилось влезать в долги, так дорого все это стоило. А потому иные уже стали проклинать благосклонность Гая, понимая, что этой приманкой их загоняют в капкан непосильных расходов. Таков был странный его характер, и это касалось всех, а евреев — особенно: их глубоко ненавистные ему молельни он стал прибирать к рукам, начав с Александрии — он разместил в них свои изображения и статуи (позволив это делать другим, он просто водружал их чужими руками), а Храм в Священном Городе, который последний, оставшийся нетронутым, считался прибежищем святости и благочестия, он постепенно приспособливал и видоизменял, превращая в свое собственное святилище, чтобы объявить его храмом Гая-Зевса Новоявленного.

Что скажешь? Ты, человек, желаешь завладеть и небом, и эфиром, и не довольно тебе всего этого богатства материков и островов, народов и стран света, над коими ты властвуешь? А разве Бога не нужно удостоить здесь, на земле какой-нибудь страны, или города, или хоть малой частицы земли, посвященной ему и освященной божественными пророчествами, — даже эту частицу ты хочешь уничтожить, чтобы и в этой малой части столь обширной земли не осталось ни следа, ни памяти о благоговейном почитании истинно сущего Бога?

Да, есть на что надеяться роду человеческому! Как же ты не видишь, что этим невиданным и великолепным деянием, которое не только совершать, но даже обдумывать нечестиво, ты открываешь русло для полноводного потока зла?!

Стоит вспомнить и о том, что мы увидели и услышали, когда явились судиться за наши гражданские права^[49]. Еще с порога мы поняли — по взгляду и движениям его, что не к судье пришли, но к обвинителю, который к нам даже враждебнее, чем противники. Вот что был должен сделать судья: устроить заседание с участием самых достойных лиц — ведь разбиралось дело чрезвычайной важности, о котором молчали четыре сотни лет и только теперь возбудили против тысяч и тысяч александрийских евреев; по обе стороны от судьи должны были стоять тяжущиеся со своими защитниками, а он должен был выслушать по очереди обвинение и защиту и дать каждой стороне говорить положенное время, потом удалиться с заседателями на совещанье и обсудить, какое решение они

(руководствуясь самыми справедливыми соображениями!) вынесут и объявят во всеуслышание. Но это был неумолимый, властный и капризный тиран: он, разумеется, не сделал ничего из только что описанного мною, а послал за зрителями двух садов, принадлежавших Меценату и Ламии^[50] (эти сады лежат поблизости друг от друга и от города, и здесь Гай провел три или четыре дня, ибо именно здесь собирался устроить представление перед нами и на беду всему нашему народу), и распорядился открыть все свои поместья: хочу, мол, провести тщательный осмотр каждого.

Когда нас привели к нему, мы, только взглянув на него, тотчас же как нельзя более скромно и почтительно опустили очи долу и приветствовали, именуя «самодержцем Августом». Ответ его был столь приветлив и человечен, что мы решили: «Погибло все — и наше дело, и наша жизнь!» Глумливо и с издевкой он сказал: «Вы что, богоненавистники? Уже весь мир признал меня богом, а вы не верите и богом не зовете?» И воздев руки к небу, он произнес такое обращение, которое даже слушать нечестиво, не то что пересказывать. Какая радость тут охватила послов противной стороны — они решили, что выиграли дело, и принялись размахивать руками, приплясывать и благословлять Гая, называя его именами всех богов.

45

Увидев, как радуется Гай, когда обращаются к нему как к существу сверхчеловеческой природы, известный кляузник Исидор^[51] сказал: «Владыка, ты еще больше возненавидишь этих людей и все их племя, если узнаешь, сколь они враждебны и непочтительны к тебе: все люди приносят благодарственные жертвы богам за то, что они хранят тебя, а эти (я разумею всех евреев) даже помыслить не могут о жертвоприношениях!»

Тут мы вскричали в один голос: «Нас оболгали, господин, мы приносили жертвы и даже гекатомбы, и мы не просто окропляли кровью алтарь, унося мясо домой, чтобы вкусить его, устроив пир, как это обыкновенно делают другие, — нет, мы жертвенных животных целиком предавали священному пламени и не однажды, но трижды^[52]: первый раз, когда ты принял верховную власть, второй, когда избавился от тяжелой болезни — той самой, которой вместе с тобою страдал весь мир, а третий, когда мы уповали на победу в Германии». «Допустим, — сказал он, — это правда, вы приносили жертвы, но не мне, хотя бы и ради меня. Так что в этом пользы? Не мне же вы приносили жертвы».

Услышав эти слова вдобавок к первым, мы глубоко содрогнулись, и это внутреннее содроганье вышло наружу дрожью. А Гай, произнося все это, расхаживал по своим поместьям, осматривая мужские и женские покои, все помещения в нижних и верхних этажах, словом, все, и распоряжался: тут плохо отделано, тут надо сделать так-то и так-то, и больше роскоши!

Мы поспешали за ним — то вверх, то вниз, терпя насмешки и брань противной стороны, словно на представлении мимов; да и вообще все это было похоже на мим: судья разыгрывал обвинителя, обвинители — скверных судей, соображающих лишь с собственной неприязнью, а не с истиной как она есть. Но если обвиняет сам судья, да еще такой, надо молчать, ведь можно и молча оправдаться, особенно когда не можешь ответить ни на один пункт пристрастного допроса, ибо обычай и закон держат в узде язык, плотно смыкают уста.

Отдав ряд хозяйственных распоряжений, Гай задал нам самый значительный и важный вопрос: «Вы почему свинину не едите?» В ответ наши противники опять разразились таким хохотом (одни от удовольствия, другие по соображениям лести — мол, тонко сказано и остроумно), что кое-кто из свиты Гая был недоволен, усмотрев в этом непочтительность к Гаю, с которым и скромная улыбка небезопасна, если ты только не вступишь в круг ближайших друзей. Мы отвечали: «У всех свои законы, и есть запреты как для нас, так и для наших противников». Кто-то сказал: «Вот не едят же многие того, что всегда готово к употреблению, — ягнятины». Гай засмеялся: «И правильно, ведь это не доставляет удовольствия». Против такого злого пустословия мы были бессильны.

Потом, спустя значительное время, Гай издевательски сказал: «Хотелось бы знать, какие это законные просьбы имеются у вас касательно ваших гражданских дел?» Мы стали говорить и объяснять, но он, только отведав нашей защиты и ощутив, что это не то, чем можно пренебречь, оборвал нас в самом начале, покуда мы не дошли до более весомых и значимых вещей, и устремился в залу, обойдя которую, распорядился вставить в окна прозрачный камень, — мол, он и свету не мешает, и защищает от ветра и жарких солнечных лучей. Потом он неспешно подошел к нам и спросил уже более миролюбиво: «Так что вы говорите?»

Мы стали продолжать, а он бросился уже в другую комнату, где приказал расставить картины. Так все было разорвано, расчленено, и, можно сказать, разбито, и сокрушено; мы отступились: сил больше не было, все было безнадежно — лишь смерть мы видели перед собой; и наши души уже не обретались в нас, но от мучений вышли из тела, чтобы припасть с мольбой к истинному Богу, да утишит он гнев того, кто этим именем зовется ложно. И Бог, вняв нашим жалобам, обратил душу Гая к состраданию, и тот, смягчившись, сказал: «Мне кажется, что эти люди скорее несчастны, чем порочны, и лишь по неразумию своему не верят, что я божественной природы». И с этими словами он удалился, велев уйти и нам.

46

Вот что это был за театр и одновременно тюрьма вместо суда: свист, улюлюканье, насмешки, тяжелая брань — все как в театре; удары, проникающие до самых внутренностей, пытки, мучения души, не могущей перенести ни богохульств, ни угроз, исходящих от столь могущественного самодержца, который мстил не за другого (об этом он легко забыл бы!), но за себя и страсть свою к обожествлению, которого, он понимал, одни лишь евреи не могли признать и подписаться под ним — все как в тюрьме. Выйдя, мы едва могли отдышаться — не потому, что дорожили жизнью и смертельно испугались за нее, нет, мы умерли бы с радостью, как если бы нам подарили бессмертие, когда бы этим могли быть восстановлены какие-то наши права, но потому, что поняли: не только бесполезны были все наши жертвы, но навлекут они большой позор на весь народ, пославший нас. Только это нас ободрило, насколько это было возможно, но все прочее пугало, мы были в страхе и смятении: что он решит? какой объявит приговор? что подтолкнет его к решению? Ведь дело наше он выслушал, иные вещи пропустив мимо ушей. Как тяжело, что судьба всех евреев мира бьется в руках у нас, пятерых! А если он решит дело в пользу наших врагов? Найдется ли город, который сохранит спокойствие, который не пойдет против своих сограждан? Какая молельня останется нетронутой? Какое из гражданских прав не будет низвергнуто для тех, кто живет по древним законам евреев? Потерпят крушение и пойдут ко дну и собственные их установления, и те права, что разделяют они с другими гражданами.

С такою течью наше судно все глубже уходило под воду; а те, кто до сих пор, казалось, были с нами, покинули нас; когда же нас, наконец, позвали, они не в силах были оставаться внутри, но выскользнули, ибо точно знали всю меру страсти Гая к собственному обожествлению.

Я рассказал вам главное о том, почему Гай так ненавидит весь еврейский народ. Однако нужна и палинодия^[53].

^[1] Заглавие сочинения в рукописях такое: περὶ ἁρετῶν α' (с подзаголовком περὶ προσβείας). Таким образом, данный текст входит в качестве первой книги в более объемное сочинение, состоящее как минимум из двух книг. Об этом же свидетельствует и последняя фраза «Посольства»: «Однако нужна и палинодия». Слово «палинодия» означает буквально «обратная песнь», а в данном контексте служит обозначением некоего текста, содержание которого противоположно содержанию предыдущего текста, т. е. «Посольства». Следовательно, за «Посольством» должен был следовать второй текст, опровергающий все сказанное в «Посольстве», но с каких позиций могло быть сделано это опровержение — загадка и тема специального исследования.

^[2] На языке халдеев — в оригинале Χαλδαϊστί («по-халдейски»); здесь синонимично Ἑβραϊστί («по-еврейски»). О возможной синонимии этих двух слов см. Philo Alexandrinus. Les oeuvres de Philon d'Alexandrie. — Р., 1972. — v. 32, p. 10 sq. Этимология слова «Израиль» основана на восприятии слова как состоящего из двух корней: один корень — יָרָא («Бог»), а другой корень Филон мог связывать как с греч. ὁράω — «видеть», так и с евр. רָאָה — «видеть».

^[3] В оригинале λόγος, а потому, возможно, подразумевается не «разум», но «язык», что также соответствует контексту.

^[4] *Тиберий* — император Тиберий Юлий Цезарь Август (42 г. до н. э. — 16 марта 37 г. н. э.). Был провозглашен императором в 14 г. н. э. и правил до смерти. *Гай* — император Гай Юлий Цезарь Германик (Калигула) (12 г. — 41 г. н. э.).

^[5] Подразумевается Тиберий Гемелл, отцом которого был Друз, сын Тиберия. В отличие от Гемелла, Гай был не внуком, а внучатым племянником Тиберия, т. к. отцом его был Германик, племянник Тиберия. Гемелл был убит в 37 г. или 38 г. н. э. Гаю в ту пору было около 25 лет. У Светония находим ту же версию, что предлагает Филон, — согласно этой версии, Тиберий оставил двух равноправных наследников своей власти — Гая и Гемелла. Иосиф Флавий, однако, приводит данные, согласно которым Гай был единственным наследником самодержавной власти (см.: Светоний, Tiberius, 76; Иосиф Флавий, Antiquit., XVIII, 211-224).

^[6] *Макрон* — Невий Сертоний Макрон (? — 38 г. н. э.). Содействовал Тиберию в борьбе с Сеяном (см. ниже, прим. 7) в 32 г. н. э. и занял место начальника преторианской когорты после ареста Сеяна. В последние шесть лет жизни Тиберия Макрон пользовался огромным влиянием при дворе.

^[7] *Сеян* — Луций Эмилий Сеян (? — 31 г. н. э.), сын Лиция Сея Страбона, египетского наместника, главный советник императора Тиберия; с 23 г. н. э. — начальник преторианской когорты и фактический ее организатор. Далее (гл. 24) Филон утверждает, что Сеян имел план истребления всех евреев.

^[8] *Жена Макрона* — Энния.

^[9] В оригинале Σεβαστός, что соответствует лат. augustus — «возвышенный» и далее — «возвышенный богами». Первым титул «Август» получил от сената Октавиан. Тиберий унаследовал этот титул вместе с властью.

^[10] Макрон, как сказано выше, был начальником преторианской когорты.

[11] *Марк Силан* — Марк Юний Силан, consul suffectus 19 г. н. э. вместе с Публием Петронием (см. ниже, прим. 34). Женой Гая была его дочь Юния Клавдия.

[12] *Полубогами* назывались те персонажи мифологии, которые имели смертную мать и отца-бога: *Дионис* был рожден от Зевса и Семелы, *Геракл* — от Зевса и Алкмены, *Диоскуры* же (Кастор и Полидевк) имели разных отцов — Кастора Леда родила от Тиндарея, а потому он был смертен, а Полидевк — от Зевса, и потому он был наделен бессмертием. *Трофоний* — беотийский герой, особенно был известен как прорицатель, дававший оракулы в Лебадейской пещере в Беотии, где было его святилище. *Амфиарай* — аргосский герой, участник похода «семерых против Фив», прорицатель; в Оропе (Аттика) Амфиарай почитался богом; здесь было его святилище. *Амфилох* — сын Амфиарая, унаследовавший от отца дар прорицания. Вместе с Калхантом основал ряд прорицалищ на побережье Малой Азии, прибыв под Трою в конце войны.

[13] *Герион* — в греч. мифологии трехголовый и трехтуловищный великан; местом его обитания считался остров Эрифия. Герiona убил Геракл (десятый подвиг).

[14] *Вакх*, *Эвий*, *Лиэй* — эпитеты Диониса. *Эвий* происходит от восклицательного междометия εὖα, *Лиэй* — вероятнее всего, от λύω — «освобождать»; этот эпитет подчеркивает расслабляющую, «освобождающую» силу Диониса как бога вина; во всяком случае, так считали сами греки (см. Плутарх, «Застольные беседы», I. 1, 613 С).

[15] *Пеан* — изначально название гимна, обращенного к Аполлону как врачу; впоследствии — эпитет самого Аполлона-врачевателя. В Италии Аполлон и почитался преимущественно как бог-врачеватель и прорицатель.

[16] Рационалистическое толкование мифа и мифологических персонажей в античной традиции часто основывалось на этимологическом подходе.

[17] Ср. «Против Флакка», гл. 8.

[18] Подразумевается Флакк.

[19] Речь идет о египетских царицах — Клеопатре I (215 г. – 176 г. до н. э.) и Клеопатре VII (69 г. до н. э. – 30 г. до н. э.).

[20] Подразумевается период правления в Египте династии Птолемеев — с 304 г. до н. э., когда Птолемей I Сотер объявил себя царем, по 30 г. до н. э., когда по приказу Октавиана был убит Птолемей XV, сын и соправитель Клеопатры VII.

[21] *Птолемеи* — династия македонских царей, правивших Египтом (см. выше, прим. 20).

[22] Речь идет об императоре Августе. Ср. выше, прим. 9.

[23] Филон, вероятно, ведет здесь отсчет или от 31 г. до н. э., когда после битвы при Акциуме Египет утратил свою самостоятельность и подпал под власть Рима, или от 27 г. до н. э., когда Октавиан был провозглашен принцепсом. В любом случае цифра «43» оказывается средней.

[24] В оригинале храм именуется Σεβαστεῖον. *Эпибатерий* — эпитет бога, покровительствующего морским путешественникам.

[25] Александрийские *гавани*: Большая, Малая, Счастливого возвращения.

[26] См. выше, прим. 7.

[27] Безбожие, а точнее, многобожие египтян — постоянный объект нападок Филона. Ср. *De vita contemplativa*, 8-9.

[28] *Геликон* — ближе неизвестен.

[29] *Агриппа* — иудейский царь Агриппа I (10 г. до н. э. — 44 г. н. э.), внук Ирода Великого. Биографию Агриппы сообщает Иосиф Флавий (Antiquit., XVIII, 6). Сравните эти события, описанные в гл. 5 «Флакка».

[30] *Дикеархея* — историческое название Путеол; приморский город в Кампании; превосходная гавань.

[31] *Капитон* — Гай Герений Капитон, упомянут у Иосифа Флавия (Antiquit., XVIII, 158).

[32] *Апеллес* — ближе неизвестен.

[33] *Клавдий Германик* — император Тиберий Клавдий Друз Нерон Германик (10 г. до н. э. — 54 г. н. э.), преемник Гая.

[34] *Петроний* — Публий Петроний, сын Петрония Турпилиана и внук наместника Египта Гая Петрония. Ср. выше, прим. 11.

[35] *Вавилон* — не путать с Вавилоном в Египте, городом-крепостью, где в ранний период империи стояли римские войска.

[36] *Сидон* — город в Финикии, которая в это время входила в состав римской провинции Сирия.

[37] *Вителлий* — Луций Вителлий, наместник Сирии при Тиберий (см. Тацит, «Анналы», VI, 32, 41).

[38] *Дольная Сирия* — Дольной Сирией (Килесирией — Κοιλὴ Σύρια) греки называли область между горными цепями Ливана и Антиливана.

[39] *Агриппа, твои дед* — Марк Випсаний Агриппа (63 г. до н. э. — 12 г. н. э.); его дочь от брака с Юлией, дочерью Августа, — Агриппина, мать Гая.

[40] Подразумевается император Тиберий, которому Гай, однако, был не внуком, а внучатым племянником (ср. выше, прим. 5).

[41] *Пилат* — Понтий Пилат, наместник Иудеи в 26/27–36/37 гг. н. э.

[42] *Цезарея* — город в Палестине, заново построенный Иродом Великим на месте Стратоновой башни и названный в честь Октавиана Августа; в честь последнего назван и новый грандиозный порт, сооруженный Иродом — Portus Augusti.

[43] *Твой прадед* — император Август, «формальный» прадед Гая, ибо Тиберий был им усыновлен.

[44] *Гай Норбан Флакк* — легат Антония и Октавиана в 42 г. до н. э.; консул 38 г. до н. э.

[45] *Прабабка твоя Юлия Августа* — речь идет о Ливии (58 г. до н. э. — 29 г. н. э.), матери Тиберия. Имя «Юлия Августа» она получила после развода с отцом Тиберия (Тиберием Клавдием Нероном), выйдя замуж за Октавиана Августа.

[46] Агриппа был отправлен в тюрьму Тиберием по возвращении в Рим из Сирии в 36 г. н. э. и освобожден Гаем.

[47] *Трахон и Галилея* — две из областей Палестины. *Трахон* входил во владения тетрарха Филиппа. *Галилея* прибавилась к владениям Агриппы позже, в 41 г. н. э., так что Филон, вероятно, здесь ошибся.

[48] См. выше, прим. 34.

[49] Речь идет о той беседе послов с Гаем, ради которой они и прибыли в Рим. Хронология посольств, видимо, такова: 38/39 г. — посольство отправляется из Александрии в Рим; весна 39 г. — прибытие послов в Рим и первая краткая встреча с Гаем (гл. 28); сообщение об осквернении Храма (гл. 29);

сентябрь 39 г. — отъезд Гая из Рима (ср. гл. 33); май 40 г. — возвращение Гая в Италию и встреча с послами.

[50] *Меценат* — Гай Меценат (? — 8 г. до н. э.), друг и советник Октавиана Августа, покровитель римских литераторов. *Ламия* — возможно, Луций Эмилий Ламия, всадник, современник Цицерона; или его сын консул 2 г. н. э.

[51] *Исидор* упомянут в одном папирусном фрагменте, где он именуется гимнасиархом. Об этом фрагменте подробнее: Philo Alexandrinus. Les oeuvres de Philon d'Alexandrie. — P., 1967. — v. 31, p. 31.

[52] Соответственно: 16 марта 37 г. н. э.; приблизительно май 38 г. н. э. и, вероятно, зима 39/40 г. н. э., когда Гай планировал вторжение в Германию, но не осуществил его.

[53] См. выше, прим. 1.